

**ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН**

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

№ 1

2007

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

-
- Леонтьева Т. Г.* Православные священники дореволюционной России против «тупого разгула кабака»3
- Низамова М. С.* К вопросу об определении географических рамок в научном исследовании по земскому самоуправлению на материалах Поволжского и Уральского регионов 11
- Сухова О. А.* «Русский бунт» начала XX века как ритуал крестьянской повседневности: реальность или мистификация? 17
- Сапон В. П.* «Боевая радуга новой культуры» (анархо-мистическое движение в Нижегородской провинции)26
- Сомов В. А.* Бомбежки г. Горького и массовое сознание в годы Великой Отечественной войны33

ФИЛОСОФИЯ

-
- Стерледев Р. К.* XXI век: проблема методологической дополнителности в аспекте фундаментальных гносеологических установок.....40
- Розенберг Н. В.* Феноменология как методологическая основа исследования повседневности46
- Налетова И. В.* Становление и развитие европейского образовательного пространства в рамках европейской культурной традиции52
- Николаева Е. М.* Социализация личности как самоорганизующаяся система-процесс65

ФИЛОЛОГИЯ

-
- Жаткин Д. Н., Шешнева Т. Н.* А. К. Толстой как переводчик произведений Г. Гейне на русский язык.....73
- Яковлева Э. Б.* Полилог – третья форма речи?82

<i>Тырыгина В. А.</i> Жанровый потенциал субстантивных номинаций	90
<i>Гордеева Т. А.</i> Фоностилистическая маркированность немецкого литературного произношения	98

РЕЦЕНЗИИ

<i>Карнишина Н. Г.</i>	108
Аннотации	111
Сведения об авторах	116

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ ПРОТИВ «ТУПОГО РАЗГУЛА КАБАКА»

Борьба с пьянством – актуальная для России проблема. Во второй половине XIX в. в ее решении активно участвовали православные священники. В статье рассмотрена деятельность таких священников, как Н. Лебедев, Д. Казанцев, Н. Поклонский и др., освещен вопрос организации обществ трезвости, издания тематических журналов «Вестник трезвости», «К свету».

Проблема борьбы с пьянством была и остается актуальной как для старой, так и новой России. Попытки ее преодоления не раз заводили сторонников трезвости в лабиринты бесполезных дискуссий, а власть – в тупики «сухого закона», но это не снижало энтузиазма желающих навсегда покончить со злой привычкой русского человека «выпить или напиться с горя и радости», «с устатку» или безделья. Можно ли в принципе одолеть порок, объявленный национальным? Существовали ли в прошлом институты, способные органично противостоять этой социальной напасти?

Эти вопросы особенно остро зазвучали во второй половине XIX в. в связи с развитием производственного отходничества. Безусловно, необходимое для модернизации России, оно повлекло за собой побочные негативные последствия: более 80% мигрантов не находили постоянной работы в городе, 11% из них вслед за тем «скатывались на дно» [1]. Неудачливые «ходоки за городским счастьем» приносили в свои деревни приобретенные в городе пороки. Различные асоциальные явления: пьянство, пауперизация, бродяжничество, рост преступности – разлагали патриархальную крестьянскую среду.

В самой деревне «зеленый змий» определенно вышел из-под контроля как помещика, так и общины: непременным компонентом народного быта сделались кабаки и трактиры, численность которых к 1890-м гг. на порядок превосходила количество просветительских учреждений [2, с. 2; 3, с. 120–125]. Так, в Тверской губернии официально насчитывалось 105 трактирных заведений, 15 пивных лавок, 4 винных склада и 18 погребов [4, 5]. По мнению знатоков крестьянского быта, сельское население употребляло алкоголь «умеренно», встречались в деревне люди «запойные» и даже женщины, не уступавшие в пьянстве мужчинам [6, 7]. Причинами спонтанных возлияний становились как семейные радости, так и неурядицы, а православные священники отмечали, что в селах и деревнях свадьбы зачастую превращаются в разгул, «где пьют без просыпа по целой неделе сряду» [8].

Немаловажным можно считать и тот факт, что государство, получавшее колоссальные прибыли от торговли спиртным, постоянно наращивало его производство и продажу. По официальным данным, в это время в России (включая Царство Польское) было 204 тыс. питейных заведений с продажей

водки [7], а среднегодовое потребление этого напитка на душу населения составляло 0,31 ведра¹. В столичных губерниях предпочтение отдавалось вину, потребление которого составляло 0,72 ведра. Менее пристрастными к алкоголю оставались жители восточных и северных губерний и Царства Польского [2, с. 18]. Признать эти цифры даже в качестве средних показателей можно лишь условно: повсеместно велось тайное винокурение и употребление суррогатов, так называемой «дешевки». К тому же средние показатели выводились с учетом всего населения империи, а между тем отдельные этносы вовсе не употребляли горячительного. Словом, основания для беспокойства были нешуточными.

Не удивительно, что именно в пореформенный период российская общественность рьяно взялась за искоренение пьянства: утверждали, что от чрезмерного употребления алкоголя вырождаются целые семьи, что неслыханно жестокие преступления совершаются одурманенными людьми, что заметно снижается нравственный уровень православного населения. Повсеместно поощрялось создание обществ трезвости, призванные научить «простой народ и фабричных более разумным развлечениям».

Начинания, связанные с коренным переустройством быта, как известно, требуют колоссальных вложений. Рассчитывать на помощь государства не приходилось: последнее издавна экономило на всем, что по причине собственной близорукости относилось к второстепенным заботам. Поэтому власть подталкивала к борьбе со злом энтузиастов из всех сословий и православную церковь. Считалось, что церковный приход является готовой структурой для борьбы с пьянством. В рамках прихода, особенно сельского, общественное движение за народную трезвость действительно обрело новые черты.

В 1889 г. Св. Синод издал указ, в котором говорилось, «что не прекращающееся до ныне пьянство среди низших классов городского и сельского населения весьма усиливается» [9], в связи с чем священникам предписывается всемерно содействовать возникновению обществ трезвости. От членов общества требовался отказ от употребления спиртных напитков, особенно в праздники, связанные с выполнением церковных обрядов, а также избавление от сопутствующих возлияниям дурных привычек – сквернословия, курения и карточной игры. Нарушителей обетов предполагалось сразу же исключать из обществ. А поскольку следовать столь жестким предписаниям было с непривычки довольно сложно, в качестве вознаграждения предполагались меры социальной поддержки семей трезвенников (организация касс взаимопомощи, похоронных касс, отделений помощи погорельцам и т.п.) [10].

Конечно, движение породило не только энтузиастов, но и скептиков: отвадить мужика от кабака казалось делом невозможным, тем более священникам, многие из которых, строго говоря, сами нуждались в лечении от алкоголизма. Однако медленно, но последовательно дело стало продвигаться: в августе 1890 г. было зарегистрировано общество в селе Павлово Нижегородской губернии, в октябре священник села Ильинское Пошехонского уезда Ярославской губернии объединил обетом воздержания от спиртного 20 прихожан [11, с. 81; 12, с. 25]. В Тверской губернии первое общество трезвости открылось в 1891 г. в Зубцовском уезде. Преодолевая скептицизм прихожан, священнику Нилу Лебедеву путем ярких проповедей и доверительных част-

¹ Ведро – мера объема жидкостей, равная 12,3 литра.

ных бесед удалось склонить к вступлению в него 47 человек. Это было немало, учитывая, что в селе было 35 дворов, на которые приходилось два питейных заведения [13]. Обнаружились и еще более заметные успехи. В 1892 г. при церкви Иоанна Предтечи в Угличе (Ярославская губерния) объединилось сразу 268 трезвенников [14, с. 19–21].

В середине 1890-х гг. общества трезвости можно было встретить даже в глухих селах. В борьбе с пороком лидировал центральный регион: в Ярославской губернии 1900 г. в селе Марково Ростовского уезда в Никольское общество вступило сразу 165 человек, через три года число его членов возросло до 475; в 1901 г. объединения трезвенников появляются в Угличском и Борисоглебском уезде [15–18]. Один за другим союзы трезвенников появлялись в приходах Бежецкого, Корчевского, Старицкого, Новоторжского уездов Тверской губернии. К 1900 г. в этой губернии было зарегистрировано 17 обществ, охватывающих более 6 тыс. человек¹. В Нижегородской губернии к этому времени функционировали 20 обществ². В Московской, Вологодской, Костромской епархиях удалось создать «епархиальные комитеты трезвости» и «пастырские союзы борьбы с пьянством» [16, с. 214]. Активизировалось трезвенное движение в Псковской губернии [17, с. 143]. В Петербурге стал издаваться журнал «Трезвая жизнь».

Однако открытие общества только начало многотрудной борьбы с пороком. Разрешение на открытие общества необходимо было выхлопотать в духовной консистории, представив проект Устава, затем зарегистрировать его в полиции, а в процессе деятельности постараться не навлечь подозрений местных властей на склонность к «неуставной деятельности». Поскольку исправникам уследить за крестьянскими сборищами было трудно, а иные священники числились неблагонадежными, то проще было воспрепятствовать регистрации общества. Любопытно, что и земцы порой расценивали попытки крестьян начать «новую жизнь» как пустую блажь и бесполезную трату денег. Так, крестьянам-трезвенникам Макарьевского уезда Нижегородской губернии в местной земской управе отказано в помощи приобретения «волшебного фонаря» и выписке журнала «Вестник трезвости» [11, с. 82]. Словом, представители светской общественности были убеждены, что одними «молитвенно-церковными мероприятиями» пьянство не остановить.

Однако священников все это не расхолаживало. Как видно из протоколов тверских епархиальных съездов 1909 г., они, признавая, что «устройство и открытие чайных, библиотек, читален, театральных представлений и народных зрелищ не приносили благих результатов и не сокращали пьянства», все же выражали готовность продолжать борьбу с «величайшим из человеческих зол» [18, с. 50]. Рассчитывая на союз с правительством и земством, священники призывали к повсеместному открытию обществ трезвости. Им казалось, что обеты, данные «простым народом» перед крестом и евангелием, – самое надежное средство против винопития. В качестве других мер предлагались следующие: «пример трезвости самого духовенства; проповедь о вреде пьянства как для души и тела самого пьяницы, так и для его семьи и потомст-

¹ Подсчитано по: Вестник трезвости (1894–1900).

² Между тем в сводках Св. Синода приводятся явно завышенные показатели. Данные исследователей, подкрепленные архивными материалами, представляются более достоверными.

ва»; «ознакомление детей с идеями о вреде пьянства в школе» [18, с. 50]. Находились и скептики, уповавшие исключительно на «запретительные меры». Они предлагали даровать сельским обществам право закрывать винные лавки и штрафовать за торговлю водкой в шинках. Звучали и вовсе оригинальные предложения. Например, священник Чулицкий призывал внедрить так называемое церковное страхование: прихожанин, жертвуя на нужды храма определенную сумму, освобождался от обязанности устраивать для односельчан брачный пир или поминальную тризну. Как альтернатива пьянству рассматривалась даже идея открытия товариществ мелкого кредита: эта предполагаемая панацея от народной бедности должна была ликвидировать первопричину пьянства [18, с. 51].

Прекраснодушные мечтания своих собратьев несколько «приземлил» пионер и ветеран борьбы с пьянством – священник, председатель крупнейшего в епархии Власьевского общества трезвости. Наученный горьким опытом, он указывал на эфемерность результатов в этом неравном столкновении и убеждал съезд обратиться в Государственную Думу и Государственный Совет с предложением запретить продажу спиртных напитков, а в губернии создать, наконец, централизованную систему управления уже действующими обществами. Депутаты постановили обратиться с принятыми резолюциями в законодательные органы и избрать общегубернский трезвенный оргкомитет. Примечательно, что последний состоял по преимуществу из церковных старост – наиболее авторитетных на селе мужиков, а возглавил его многоопытный священник Н. Лебедев [18, с. 52].

Он начал новое дело с издания епархиального «противоалкогольного» журнала «К свету», желая с его помощью не только «открыть... ужасную картину разложения от пьянства семьи, общества, государства», но и помочь тем, кто изнывал под бременем страшного недуга. Увы, столь благородная затея оказалась убыточной: только за один год редакция потеряла 1290 руб. [19, с. 84]! Между тем на следующем общепархиальном съезде депутаты настоятельно рекомендовали Лебедеву не оставлять просветительских трудов. Более того, после длительной дискуссии большинством голосов порешили передать отцам-издателям 1187 руб., оставшихся после закрытия комитета по оказанию помощи голодающим губерниям. Иные батюшки разгорячились так, что убедили участников съезда ввести обязательную подписку для всех приходов. Однако владыка Антоний охладил их пыл, начертав резолюцию «достаточно рекомендовать» [18, с. 85]: ему было известно, каким тяжким бременем могла оказаться подписка для бедных причтов.

А тем временем против трезвенников объединялись торговцы крепкими напитками. Если в будни священникам кое-как удавалось удерживать паству от излишних возлияний, то в праздники положение усложнялось. Поскольку под духовное действо «подгадывали» базары и ярмарки (чем больше праздник, тем больше и базар), то случалось, что уже во время обедни совершенно пьяные мужики слонялись в храме, «как одурманенные и отравленные мухи» [19, с. 140].

Двойственную позицию занимали и иные земства. Одни бесплатно лечили алкоголиков даже в небольших уездных больницах [20]. Другие считали, что, прежде чем приступить к искоренению пьянства, надо изыскать возможности компенсировать утрату доходов от торговли спиртным. В резуль-

тате Тверское губернское земское собрание отклонило ходатайство одного из уездных земств о признании за сельскими сходами права закрывать винные лавки [21]. Но даже в такой обстановке священникам все же удавалось противостоять пьяным разгулам.

Ситуация изменилась в годы Первой мировой войны в связи с принятием «сухого закона». Поначалу деревня стала трезветь. Но со временем тайные торговцы спиртным (в том числе и из крестьян) вновь обрели свою клиентуру. Развернулась настоящая война против проповедников трезвости: даже невинное вразумление священником «загулявших» могло обернуться для него «безумною мезью – поджогами». Обеспокоенные церковные иерархи вновь воззвали к активизации обществ трезвости [19, с. 142–143].

Между прочим, отдельные общества преуспевали. Общероссийскую известность, к примеру, приобрело к этому времени Тверское Казанское общество трезвости, открытое в приходе села Власьево Тверского уезда, взявшееся объединить, согласно Уставу, «лиц обоюбого пола православного исповедания» [22]. Его организатору, уже упомянутому выше священнику Н. Лебедеву, удалось убедить в преимуществах трезвой жизни не только своих прихожан, но и рабочих из предместья Твери. Первоначальный капитал общества составили средства самого организатора, затем стали поступать членские взносы и доходы от общественных начинаний (подписок, лотерей и т.п.). Силами общества содержались три чайных, дешевая столовая для рабочих, бесплатный ночлежный приют для приезжающих из города на воскресные беседы. Разумеется, это потребовало подвижнических усилий со стороны священника и его ближайших помощников.

Казанское общество стало самым крупным в Твери: в 1899 г. в него входило 2200 человек, в 1900 г. – уже 3700. Доверие к священнику было столь велико, что прихожане не стали возражать против строительства в селе библиотеки и приобретения более 600 книг – все это было весьма недешево для крестьян. Последующие деяния общества поразили даже горожан: в рамках прихода открылась ремесленно-земледельческая колония, касса взаимопомощи, приют для алкоголиков со столярной и сапожной мастерскими и приют-колония для беспризорных детей [13, 23]. К 1913 г. общество получило статус юридического лица, что позволило существенно расширить сферу его влияния – получить доступ в школы и училища, участвовать в епархиальных съездах [24].

Одновременно разворачивалась деятельность Иоанно-Предтеченского общества в Ярославле. Оно открылось 17 мая 1892 г. и довольно скоро привлекло в свои ряды 268 человек, причем его актив составили женщины, семейная жизнь которых была расстроена пьянством мужей или сыновей [14, с. 18–20]. Помимо антиалкогольной пропаганды обществом практиковалось «развитие вкуса к благородным и полезным удовольствиям» – чтению, посещению чайных, хорошему пению и т.п. Священник Федор Успенский вложил немало собственных средств, чтобы открыть «Приют-школу для бедных девочек и сирот» и «Дневной приют для грудных детей», матери которых трудились на фабрике. Его же усилиями поддерживалась бесплатная столовая и богадельня.

Деятельность общества постепенно приобрела социально-миссионерский характер. Наиболее стойкие трезвенники создавали особые ячейки на предприятиях Ярославля, разъясняя вред пьянства и преимущества здорового образа жизни. Деятельность священника Успенского и его помощников

была поддержана светскими благотворительными учреждениями «Женская миссия» и «Приходское попечительство» [14, с. 19–21; 25, 26]. В общем, как видно, возможности духовного воздействия на паству заметно усиливались, когда общество было готово активно противостоять конкретным людским порокам.

Показательно, что названные общества не ограничивались борьбой с социальными аномалиями. Они становились микроцентрами духовной жизни прихода; там проходили беседы на религиозно-нравственные темы, читались лекции по земледелию, истории, географии, звучали произведения русских классиков, устраивались выступления самодеятельных хоровых коллективов, ставились любительские спектакли, проводились народные гуляния. Благодаря деятельности приходских обществ (а не только земств, как принято считать), в деревне появляются новые очаги культуры: библиотеки, народные театры и вовсе авангардная форма досуга – примитивное «кино» – «волшебные фонари с туманными картинками».

Популяризация подобных благородных начинаний через журнал «Вестник трезвости»¹ повлекла за собой распространение наиболее эффективных форм трезвеннической деятельности [3, с. 114; 27]. Нетрудно вообразить, как изменилась бы Россия, если бы все православные батюшки оказались столь же деятельными. Но фигур, подобных Лебедеву и Успенскому, увы, не хватало.

Успехи отдельных церковных обществ трезвости привлекли внимание светских властей. Это не удивительно: по численности они не только существенно превосходили аналогичные светские структуры [12, с. 11–27], но в ряде губерний даже компенсировали отсутствие последних². Учитывая серьезность намерений духовенства и памятуя о собственном, прозвучавшем еще в 1894 г. призыве создать Всероссийское церковное Братство трезвости с отделениями в каждой епархии, самодержавие оказало некоторую поддержку этому вообще-то невыгодному для казны начинанию. На основании решения Государственного Совета от 10 июня 1900 г. в ряде губерний (в том числе и Тверской) были изданы обязательные к выполнению постановления «о воспрещении публичного распития крепких напитков на открытых местах» [28]. Впрочем, эффект от административно-запретительных мер оказался невелик: основной силой в борьбе с «зеленым змием» по-прежнему оставались энтузиасты-священники. Именно им принадлежала инициатива расширения сферы деятельности приходских обществ трезвости.

Дело в том, что в начале XX в. основательно бюрократизированная российская «патерналистская» власть ухитрялась не замечать таких острых проблем, как детский алкоголизм и проституция, сиротство и безотцовщина. По мере роста отходничества здесь на лидирующих позициях оказалась Тверская губерния. Не удивительно потому, что одним из первых в России на эту деликатную тему заговорил тверской священник, настоятель прихода и «главный трезвенник» села Погорелое Городище Зубцовского уезда Дмитрий Казанский. Объектом его патронажа стали дети не только церковно-

¹ См.: Вестник трезвости (1895–1905).

² Например, в Тверской губернии земские деятели впервые поставили вопрос о мерах по борьбе с пьянством лишь в 1910 г. (см.: Журналы Тверского губернского земского собрания. Тверь, (1910)).

приходской, но и земской школы. Простейшее социологическое обследование, проведенное им, показало, что из 45 учащихся местной приходской школы 35 мальчиков и 6 девочек «имеют представление» о спиртных напитках различной крепости, 6 подростков не раз напивались допьяна. Из 60 учеников земской школы не знали алкогольного опьянения лишь 3 мальчика и 6 девочек, 11 школьников единожды напивались «по-взрослому», а 9 – основательно приобщились пороку [29]. Священник откровенно обвинил сельское общество в потакании стародавнему обычаю расплаты за работу водкой: крестьянские дети, помогавшие родителям, обычно получали ту же «награду», что и взрослые, а затем потешали всех своими пьяными выходками. Доводы священника Казанского не сразу встретили поддержку.

В 1910 г. другой тверской священник Николай Поклонский вновь поднял этот вопрос, предложив заменить меры случайного характера организованной борьбой с детским алкоголизмом [30]. Подобные инициативы получили развитие и в Псковской епархии. Священник Панов, организатор и руководитель Казанского общества трезвости в г. Остров, проводил специальные «уроки трезвости» среди подрастающего поколения [17, с. 143].

Таким образом, усилиями приходского (по преимуществу сельского) духовенства движение за народную трезвость постепенно набирало силу. Населению удавалось внушить, что пьянство – не освященный традицией ритуал, а серьезный социальный недуг, бороться с которым следует всем миром. Понятно, что общества трезвости могли заниматься лишь профилактикой пьянства, чего, строго говоря, было уже недостаточно. Но с их помощью активизировались православные приходы, способные основательно противостоять пороку.

Список литературы

1. **Ульянов, Г. Н.** Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного призрения в России / Г. Н. Ульянов // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – М., 1996. – С. 418.
2. Вестник трезвости. – 1894. – № 4.
3. Ярославский район: страницы истории. Вторая половина XIX – начало XX в. – Ярославль, 1998. – С. 120–125.
4. Отчет Тверской городской управы за 1895 год. – Тверь, 1896. – С. 8.
5. Вестник трезвости. – 1894. – № 3.
6. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро князя В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) / сост. Б. М. Фирсов, И. Г. Киселева. – СПб., 1993.
7. **Дмитриев, В. К.** Критические исследования о потреблении алкоголя в России: репринт. изд. 1911 г. / В. К. Дмитриев. – М., 2001.
8. **Булгаков, С. В.** Настольная книга для священно-церковнослужителей: в 2-х ч.: репринт. изд. 1913 г. – М., 1993. – Ч. II. – С. 1253.
9. Церковные ведомости. – 1889. – № 34.
10. «Устав» и «Правила» Власьевского Казанского общества трезвости // Тверские епархиальные ведомости (ТЕВ). – 1907. – № 18. – С. 436–446.
11. **Гудков, Б. И.** Деятельность церковно-приходских обществ трезвости Нижегородской губернии в конце XIX – начале XX вв. / Б. И. Гудков // Мининские чтения: материалы научной конференции. – Н. Новгород, 1992.
12. Русские общества трезвости, их организация и деятельность в 1892–1893 гг. / сост. Н. И. Григорьев. – СПб., 1894.
13. Тверские губернские ведомости. – 1905. – № 18. – С. 3.

14. Вестник трезвости. – 1895. – № 10.
15. Вестник трезвости. – 1902. – № 89. – С. 46 ; № 101. – С. 45 ; 1901. – № 79. – С. 27 ; 1903. – № 106. – С. 43.
16. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного вероисповедания за 1911–1912 гг. – СПб., 1913.
17. Псковский край в истории России / сост. Е. П. Иванов. – Псков, 2000.
18. Журналы Тверского Епархиального Очередного Съезда 1909 года. – Тверь, 1910. – № 20.
19. Серафим (Чичагов). О возрождении приходской жизни // Да будет воля твоя. Лествица для молитв веры. – М. ; СПб. – Ч. 2.
20. Статистические исследования о составе больных Ярославской губернской земской больницы в 1904 г. – Ярославль, 1905.
21. Журналы Тверского губернского земского собрания. – Тверь, 1914. – С. 233. – (1 пагинация).
22. Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 510. Оп. 1. Д. 413. Л. 32.
23. ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 13127. Л. 10.
24. ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 413. Л. 31–32.
25. Вестник трезвости. – 1896. – № 36. – С. 11–13.
26. Вестник трезвости. – 1900. – № 63. – С. 26–27.
27. Тверские губернские ведомости. – 1902. – № 8.
28. Тверской край в XX в. Документы и материалы. – Вып. 4. – Тверь, 1997. – С. 267.
29. Вестник трезвости. – 1900. – № 70. – С. 26–29.
30. К свету. – 1910. – № 5. – С. 7.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАМОК В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ЗЕМСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ НА МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО РЕГИОНОВ

Данная статья посвящена исследованию земского самоуправления Поволжского и Уральского регионов как одной из наиболее полно реализованных форм самоуправления местного населения. Географические рамки исследования ограничены губерниями Поволжского и Уральского регионов, которые являются интересными объектами для историко-политологического исследования. На протяжении всех лет существования земствами двух очень важных для России регионов накоплен богатейший опыт социально-политической деятельности, имеющий непреходящее значение.

К написанию данной статьи нас побудила проблема, которая на первый взгляд кажется незначительной, – определение географических рамок при написании диссертационных исследований по земскому самоуправлению в Поволжском и Уральском регионах периода второй половины XIX – начала XX вв.

Сначала обратимся к Поволжскому региону. При более углубленном и комплексном рассмотрении земств Поволжского региона, при анализе историографии темы нами замечено, что отечественные исследователи земств – авторы диссертаций, монографий – выбирали для изучения разное количество Поволжских губерний в своеобразных комбинациях, порою без глубокого обоснования выбранных географических рамок. Сразу оговоримся, что данная проблема не касается узких исследований в рамках одной какой-либо Поволжской губернии.

В истории земского самоуправления всегда было и до сих пор остается поощрительным исследование отдельных губерний, что, с одной стороны, позволяет выявить специфические особенности земств, а с другой – увидеть отражение общероссийских процессов на их деятельности. Однако в последние десятилетия историки стали чаще выходить на региональный уровень исследований. По мере активного продолжения разработки земской тематики считаем, что становится необходимым определение границ Поволжского региона. Определенная унификация географических рамок поможет исследователям при создании работ обобщающего характера.

Уточнить границы Поволжского региона оказалось нелегким делом. У отечественных исследователей периода царской России и советского времени не достигнута полная ясность в разграничении экономических районов. На эту проблему обратила внимание еще Н. Л. Клейн в исследовании «Экономическое развитие Поволжья в конце XIX – начале XX вв.» [1].

Поволжье занимало срединное положение между коренными великорусскими губерниями и национальными окраинами. Для сравнительного и обобщающего исследования земского самоуправления Поволжского региона нами выбраны следующие губернии: Казанская, Симбирская, Пензенская, Самарская, Саратовская. Указанные губернии объединяет то, что это были центральные районы царской России, довольно густо заселенные, с полиэтничным и

поликонфессиональным составом населения, преобладанием доли сельских жителей, слабо развитой фабрично-заводской промышленностью.

По переписи 1897 г. губернии, входившие в Поволжский регион, считывали 10325552 человек [2]. Наибольшей плотностью населения обладали Пензенская губерния (43,09 чел. на 1 кв. версту) [3] и Казанская (38,79 чел. на 1 кв. версту) [4]; менее густо населены были Симбирская (35,13 чел. на 1 кв. версту) [5] и Саратовская губернии (32,40 чел. на 1 кв. версту) [6]. Незначительно заселена была Самарская (20,1 чел. на 1 кв. версту) [7], относящаяся к разряду степных черноземных губерний.

Казанская, Симбирская и Пензенская губернии входят в район Среднего Поволжья. Они принадлежат к средней черноземной полосе Европейской России и по своим природным условиям очень близки между собой. Почва здесь в основном черноземная с примесью подзолистой. Саратовская и Самарская губернии образуют Нижнее Поволжье. Они принадлежат к степной полосе России, но также характеризуются в природном отношении богатыми черноземными почвами. Во всероссийском разделении труда уже к 1890-м гг. Поволжье выделилось как аграрный район зерновой специализации.

Главное богатство Поволжья – хлеб. Население указанных губерний в основном было занято земледелием, промыслами. Промышленность была представлена большей частью предприятиями по обработке сельскохозяйственного сырья: мельницами, маслобойными и винокуренными заводами. Большинство предприятий носило мелкий, нередко полукустарный характер. При бесспорно аграрной специализации хозяйства некоторые отрасли местной промышленности имели всероссийское значение. Здесь размещалось значительное государственное хозяйство (казенные земли, железные дороги, военные заводы).

Земства Поволжского региона были связаны тесным образом между собой общностью социально-экономического развития, культурными и этнографическими традициями. Это был один из наиболее пестрых районов России, но с абсолютным преобладанием русского населения. Общим было то, что земские учреждения были введены почти одновременно: в Казанской [8], Пензенской [9], Самарской [10], Симбирской [11] губерниях в 1865 г., в Саратовской [12] – в 1866 г.

В состав Поволжских губерний также входит Астраханская губерния. Считаем, что изучение органов земского самоуправления этой губернии должно быть выделено в самостоятельное исследование по следующим причинам. Во-первых, органы местного самоуправления там были созданы относительно поздно, лишь в 1913 г. [13]. Во-вторых, эта губерния имела ряд существенных отличий от других Поволжских губерний в плане природно-климатических особенностей, социально-экономического развития и др. По топографическому положению, почвенным условиям, по естественным богатствам Астраханская губерния, находясь в степной полосе России, принадлежала к числу неземледельческих губерний. Большая часть территории покрыта суглинками, чистопесчаными почвами, а также солончаками. Основными занятиями населения являлись частично земледелие, скотоводство, рыболовство, добыча озерной соли [14]. В-третьих, этнографический состав населения Астраханской губернии имел свои особенности. 39% населения указанной губернии составляли киргизы и калмыки, которых не наблюдалось в остальной части Поволжья. Великороссы составляли лишь 40,79% всего населения губернии [15].

К составу Поволжских губерний относится Нижегородская губерния (входящая в некоторых источниках в Средневолжский район) [16]. Считаем, что эту губернию стоит изучать в рамках другого региона по следующим причинам. Во-первых, указанная губерния имеет ряд отличительных особенностей в плане природно-климатического и социально-экономического развития. Территория губернии покрыта в основном песчаными и тяжелыми суглинистыми почвами, низменная часть характеризуется большими лесными пространствами и имеет почву болотистую и песчаную. Южная часть губернии в агрономическом отношении находится в более благоприятных условиях. Только здесь представляется возможным заниматься земледелием [17]. Во-вторых, в большинстве источников Нижегородская губерния включена в Центрально-Промышленный район, существенно отличающийся по развитию от Центрально-Черноземного и Поволжского районов [18, с. 36]. В-третьих, Нижегородская губерния отличается от других поволжских губерний относительной однородностью национального состава населения. По данным переписи населения 1897 г., более всего в этой губернии проживало великороссов (93,24%) [19], в то время как в Пензенской, Саратовской, Симбирской, Самарской, Казанской губерниях, кроме великороссов, значительное количество жителей составляли татары, башкиры, мордва, чуваша, вотяки, черемисы, малороссы, немцы, тептяри. Нижегородская губерния уже довольно подробно изучена такими исследователями, как А. П. Лиленкова; Е. М. Петровичева [21]. В докторской диссертации Е. М. Петровичевой вышеназванная губерния отнесена к типичным великорусским губерниям Центральной России и исследовалась в комплексе Владимирской, Костромской, Ярославской, Рязанской, Тульской губерний.

Аналогичная картина, как и в вопросе с Поволжскими губерниями, наблюдается при рассмотрении исследований земской проблематики Уральского региона.

В состав Уральского региона до революции традиционно включались Вятская, Пермская, Оренбургская и Уфимская губернии [18, с. 7]. По площади его территория превосходила любую из самых крупных стран Западной Европы. Регион играл заметную роль в экономической жизни России, имел особенную социокультурную атмосферу.

По современному административно-территориальному делению территория Уральского региона – это Башкортостан, Кировская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, Удмуртия, а также части Республики Татарстан, Курганской и Оренбургской областей.

Для сравнительного исследования земств Уральского региона нами выбраны три губернии: Вятская, Пермская и Уфимская. Земские учреждения в Уральском регионе были введены в конце 1860-х – середине 1870-х гг.: в Вятской [22] губернии в 1867 г., Пермской [23] – 1870 г., Уфимской [24] – 1875 г.

По переписи населения 1897 г. в Уральском регионе проживало 982192 жителей, что всего на 0,5 млн человек меньше, чем в губерниях Поволжского региона. Плотность населения в Вятской (22,5 чел. на 1 кв. версту), Уфимской (20,49 чел. на 1 кв. версту) и Пермской (20 чел. на 1 кв. версту) губерниях была примерно одинаковой [25]. Это были умеренно населенные губернии.

Примыкавший к Поволжскому региону Уральский регион также был полиэтничным, с преобладанием доли великоросского населения, за исклю-

чением Уфимской губернии, где великороссы составляли примерно 37,97% всех жителей [26]. В этнографическом отношении здесь проживали те же самые народности, что и в Поволжском регионе, только большее количество башкир (40,98%) и пермяков.

Климат в Уральском регионе континентальный. Почвы песчаные, глинистые и суглинистые, а в области острогов Уральского горного хребта – грубые и скелетные на известковых горных породах. И только в средней полосе Уфимской губернии встречаются почвы черноземного типа [27]. Природно-климатические условия Уральского региона не способствовали широкому развитию земледелия. Тем не менее, например, Уфимская губерния, по мнению исследователя М. И. Роднова, принадлежала к числу сельскохозяйственных районов России. Земледелием здесь занималось абсолютное большинство жителей края. Лишь в восточных волостях, расположенных непосредственно в горах Урала, главным занятием населения были лесные промыслы и работа на горных заводах. Главными районами хлебопашества и торгового зернового производства был юг (Белебеевский и Стерлитамакский уезды) и северо-восток (Златоустовский уезд) Уфимской губернии [28]. Широкое распространение на Урале получили кустарные промыслы. Развивалась добывающая промышленность. Горнозаводская и металлургическая промышленность более успешно развивалась в Златоустовском уезде [29]. Жители Уральского региона занимались также скотоводством, пчеловодством, рыболовством, работали на лесозаготовках. Специфика Уральского региона в очерченных нами географических рамках трех губерний заключалась также в расположении на его территории промышленного комплекса казенных и частных заводов.

Изучению земского самоуправления Оренбургской губернии следует посвятить отдельное исследование по следующим причинам. Земство в Оренбургской губернии было введено только в 1912 г. В статистических источниках данные по Оренбургской губернии представлены довольно скудно. По результатам переписи населения 1897 г. по сравнению с другими уральскими губерниями Оренбургская губерния считалась слабозаселенной, насчитывавшей 9,6 чел. на 1 кв. м. [30]. Этнографический состав населения имел свои особенности. Кроме русских, башкир, татар, чувашей, здесь, как и в Астраханской губернии, проживали калмыки, киргизы, которых не наблюдалось в остальной части Уральского региона.

Оренбургская губерния имела ряд существенных отличий от других Уральских губерний в плане природно-климатических особенностей, социально-экономического развития. Наибольшая часть территории указанной губернии заполнена горными хребтами – острогами Южного Урала. Почва там каменистая или известковая. К югу и востоку от Уральских гор расстились степи, сливающиеся со степями Западной Сибири и Средней Азии. Благодаря обилию пастбищ, распространение получило гуртовое скотоводство. Значительно было развито коневодство и овцеводство. По данным указанной нами переписи населения, Оренбургская губерния была отнесена к числу земледельческих. Главными хлебами являлись рожь и пшеница. Много засеивалось стручковых растений; выращивался лен. Однако указывается также, что около 69% всех жителей губернии было занято в добывающей промышленности: работали на золотых приисках и добывали каменную соль (илецкую). Из-за недостатка железных дорог был развит извозный промысел. Раз-

вивалось войлочное и корзиночное производство. Указанная губерния имела особенную социокультурную атмосферу.

Поволжский и Уральский регионы – интересные объекты для историко-политологического исследования. На протяжении всех лет существования земствами двух очень важных для России регионов накоплен богатейший опыт социально-политической деятельности, имеющий непреходящее значение. Выделение двух регионов для научного исследования дает возможность проследить историю земств различного состава и политической направленности в условиях промышленных и земледельческих губерний. Региональный уровень рассмотрения поставленных проблем позволит проанализировать непосредственную деятельность конкретных земств в их взаимоотношениях с местной, центральной властью и между собой.

Успех любого дела решают кадры. Поскольку земства просуществовали более 50 лет, имели четко отработанную структуру отделов, развернули хорошо налаженную и результативную деятельность, считаем, что назрела необходимость исследования малоизученной кадровой политики земств и земской корпоративной культуры на региональном уровне. Надеемся, что исследователи земств возьмут себе на заметку наше предложение и при этом в научном поиске сосредоточат особое внимание на источниках местного происхождения, не введенных ранее в научный оборот, а также на богатейшем материале периодики.

Список литературы

1. **Клейн, Н. Л.** Экономическое развитие Поволжья в конце XIX – начале XX вв.: (Самарская, Саратовская, Симбирская губернии) : дис. ... д-ра ист. наук / Н. Л. Клейн. – Куйбышев, 1982. – 48 с.
2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. (выпуски по соответствующим губерниям). – СПб., 1903–1904.
3. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Пензенская губерния. – СПб., 1903. – Т. XXX. – С. IY.
4. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Казанская губерния. – СПб., 1904. – Т. XIY. – С. IY.
5. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Симбирская губерния. – СПб., 1904. – Т. XXXIX. – С. IY.
6. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Саратовская губерния. – СПб., 1904. – Т. XXXYIII. – С. IY.
7. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Самарская губерния. – СПб., 1904. – Т. XXXYI. – С. IY.
8. Свод постановлений казанского губернского земского собрания (1865–1887). – Казань, 1887. – 607 с.
9. Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений Пензенской губернии (1865–1889). – Пенза, 1894. – 394 с.
10. Сборник постановлений самарского губернского земского собрания (1865–1899). – Самара, 1899. – 320 с.
11. Систематический сборник постановлений Симбирского губернского земского собрания. – Вып 1: 1866–1882. – Симбирск, 1884. – 555 с.
12. Систематический сборник постановлений Саратовского губернского земского собрания (1866–1882). – Саратов, 1884. – 1130 с.
13. **Герасименко, Г. А.** Земское самоуправление в России / Г. А. Герасименко. – М. : Наука, 1990. – С.40.

14. Статистические сведения по земельному вопросу в Европейской России. – СПб., 1906. – С. 107 ; Свод статистических материалов, касающихся экономического положения сельского населения Европейской России. – СПб., 1894. – С. XXIV.
15. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Астраханская губерния. – СПб., 1904. – Т. XIV, тетрадь 2. – С. IV.
16. Статистический справочник население и землевладение России по губерниям, и сравнительные данные по некоторым Европейским государствам. – Вып. 1. – СПб., 1906. – С. 5.
17. Статистические сведения по земельному вопросу в Европейской России. – СПб., 1906. – С. 87 ; Свод статистических материалов, касающихся экономического положения сельского населения Европейской России. – СПб., 1894. – С. XXV.
18. Динамика Российской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства за сорок лет (1887–1926 гг.). – М. ; Л., 1929. – Т. 1. – Ч. 1.
19. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Нижегородская губерния. – Тетр. 1. – СПб., 1901 ; Тетр. 2. – СПб., 1904. – С. IV.
20. **Лиленкова, А. П.** Нижегородское земство в 1890–1904 годах : дис. ... канд. ист. наук / А. П. Лиленкова. – Горький, 1973. – 217 с.
21. **Петровичева, Е. М.** Земское самоуправление центральной России в 1906–1918 гг.: эволюция на последних этапах деятельности : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – М., 2003. – 40 с.
22. Сборник постановлений Вятского губернского земства за 25 лет (1867–1892). – Вятка, 1894. – Т. 1. – 397 с.
23. Систематический свод постановлений Пермского губернского земского собрания. – Вып. 1–5 (1870–1907). – Пермь, 1901–1910. – 1145 с.
24. Историко-статистические таблицы деятельности Уфимского земства. К 40-летию существования земств Уфимской губернии. 1875–1914. – Уфа, 1915. – 445 с.
25. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Вятская губерния. – СПб., 1904. – Т. X. – С. IV ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Уфимская губерния. – СПб., 1904. – Т. XLV. – Тетрадь 2. – С. IV ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Пермская губерния. – СПб., 1904. – Т. XXXI. – С. IV.
26. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Уфимская губерния. – СПб., 1904. – Т. XLV. – Тетрадь 2. – С. VIII.
27. Статистические сведения по земельному вопросу в Европейской России. – СПб., 1906. – С. 95, 103, 235, 239.
28. **Роднов, М. И.** Аграрные отношения в Уфимской губернии накануне Великой Октябрьской социалистической революции 1912–1917 гг. : автореф. дис. канд. ист. наук / М. И. Роднов. – Казань, 1988. – С. 7–8.
29. **Нагорная, М. С.** Земское самоуправление на Южном Урале накануне и в годы Первой мировой войны : дис. ... канд. ист. наук / М. С. Нагорная. – Курган, 1999. – С. 31.
30. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Оренбургская губерния. – СПб., 1904. – Т. XXVIII. – С. IX.

«РУССКИЙ БУНТ» НАЧАЛА XX ВЕКА КАК РИТУАЛ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИСТИФИКАЦИЯ?

На примере массовых социальных выступлений начала XX в. автор рассматривает проблему дефиниции бунта как ритуала крестьянской повседневности. Решение данного вопроса осуществляется в русле междисциплинарного синтеза категорий истории и социальной психологии. В этом контексте массовая социальная агрессия представлена как последовательная реализация определенных поведенческих стереотипов, являвшихся закономерным отражением содержания социальных представлений.

В современной историографии проблематика, связанная с изучением массовых форм социальной динамики, к сожалению, не выступает в роли первоочередного направления исследовательской практики. Казалось бы, столь повальное увлечение и ажиотажный интерес исследователей к проблемам ментальности, мощное вторжение социальной психологии в сферу традиционных исторических концепций, апогей которого пришелся на середину 1990-х гг., были призваны превратить историю социальных движений в грандиозную площадку для постановки научных экспериментов. Однако этого не произошло, и народные выступления, восстания масс, по-прежнему в смысле рейтинга научных предпочтений, сохраняют этакий налет «стыдливой неуместности», считаются «немодными» и бесперспективными. Отчасти подобная ситуация объясняется тотальным отказом от методологических конструкций, разработанных в недрах марксистской методологии истории. Вместе с тем необходимость создания нового методологического инструментария все чаще выдвигает на повестку дня культурно-антропологическое измерение исторической реальности. В этом контексте революция предстает как «особое состояние психики и ментальности больших масс людей» [1, с. 6.], а следовательно, именно этот ракурс признается наиболее продуктивным направлением исследовательской практики.

Применительно к своеобразию российских условий весьма актуальной выступает проблема рассмотрения сущностных характеристик «человека бунтующего», принимая во внимание особую «русскость», присущую массовым формам социального поведения и выражающуюся в крайней степени проявления стихийности протеста. Нельзя не признать, что социально-политический кризис в преддверии Первой русской революции, да и вся революционная эпоха в целом является той самой благодатной почвой, на которой произрастали семена фрустрационных переживаний (ощущение крайней степени неразрешимости противоречий, блокировки всяческих надежд), поэтому «бессмысленный и беспощадный» русский бунт уместно рассматривать как проявление массового сознания, а точнее, одной из форм массового поведения – стихийной массовой агрессии [2, с. 52].

В то же время анализ бунта в проекции его социально-психологических характеристик был более свойственен исследованиям по истории народного протеста в странах Западной Европы, нежели Российской империи. В частности, субъектный анализ бунта на примере народных движений во Франции

между Фрондой и Революцией (1661–1789) представлен в трудах З. А. Чеканцевой [3]. По мнению автора, носителем «бунтарского поведения» выступает «историческая толпа», т.е. спонтанно возникающая группа людей, которая в конкретных исторических обстоятельствах действовала как «совокупная личность», обладающая волей и сознанием.

Безусловно, определение носителя массового сознания как контактной внешне неорганизованной общности, отличающейся высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующих крайне эмоционально и единодушно и пребывающих в жесткой психологической взаимозависимости [2, с. 55], без каких-либо существенных оговорок подходит и для характеристики массовых форм крестьянского протеста, охватившего российские провинции в первые десятилетия XX в.

Важнейшими параметрами анализа в этом отношении будут выступать: выяснение ситуационных условий проявления социальной агрессии, рассмотрение механизмов массообразования, особенностей поведения индивида в массе, а также алгоритма развития этой формы массового поведения.

Условия возникновения прочной психической связи, «гипнотической сущности толпы», «психоза толпы» связываются, как правило, с двумя аспектами культурно-антропологического измерения истории: демографическим и ментальным [2, с. 56].

Анализ документальных источников позволяет сделать несколько выводов относительно социально-психологических характеристик массовой социальной динамики периода 1905–1907 гг. [4]. Во-первых, основным побудительным мотивом к агрессии будет выступать осознание крестьянством кризиса потребительского хозяйства, вызванного малоземельем. Эмоциональная сторона «крестьянского» прочтения этой проблемы приобретает под воздействием неурожая 1905–1906 гг. крайне выраженную эсхатологическую окраску. Страх перед голодом был, пожалуй, одним из определяющих моментов в системе координат традиционного сознания. Можно предположить, что наиболее остро подобные переживания будут ощущаться в группе среднего по имущественному достатку крестьянства (как более активного элемента), оказавшегося волею судеб на грани полуголодного существования. Как отмечал С. Прокопович, аграрное движение никогда бы не достигло тех размеров, которые оно принимает осенью 1905 г. и летом 1906 г., если бы урожайность зерновых сохранялась на обычном уровне [5, с. 134].

Второй не менее значимой причиной «беспорядков» является такое состояние массовых настроений, которое, как уже отмечалось, провоцирует возникновение массы и соответствующего сознания. Переживание безысходности положения, чувство «панического страха», «страшной озлобленности», ощущение «духовной приниженности народа» [6] свидетельствуют о формировании естественной основы для перехода массы в состояние агрессии.

Как показывают современные исследования, системообразующим фактором массового сознания является крайняя степень эмоционального переживания некой социально значимой проблемы, что, в свою очередь, порождает потребность в немедленных действиях. Развитие массового сознания зависит уже от масштаба охвата людей общими психическими состояниями [2, с. 21–22]. Особую роль в ряду психологических условий возникновения социальной агрессии играют страхи повседневной жизни русского крестьянина, которые, накладываясь на объективно формирующуюся мотивацию, и

создают ощущение катастрофы, оказывая гипнотическое воздействие и пробуждая эмоционально-аффективные состояния психики. «На церкви ударили вполых» – в представлениях родового сознания церковный набат интерпретировался как сигнал к немедленному коллективному («присогласованному») действию. Массовые социальные движения определяет прежде всего эмоциональное восприятие происходящего, и поэтому особое значение имеют образы или действия, поддерживающие механизм объединения людей в массе, т.е., главным образом, в виде потребности человека в идентификации себя с большой общностью для регуляции личных переживаний. Таким образом, принятие решения о погроме владельческой экономики на сходе можно рассматривать как согласование общности переживаний, предшествовавшее образованию «толпы».

К демографическим условиям возникновения «психоза толпы» исследователи чаще всего относят «молодой возраст и отсутствие достаточного социального опыта» [2, с. 56]. В результате детального анализа ситуационных условий проявления погромных настроений можно констатировать широкое присутствие носителей так сказать «радикального» сознания (особенно это касается «зачинщиков» и лиц, своими действиями провоцировавших выступления). В архивных документах встречаются упоминания об участии в погромах «взрослых и подростков», «крестьянской молодежи обоего пола», «рекрутов», крестьян, вернувшихся «с заработков» и т.д. [7]. Необходимо отметить, что непосредственная связь между увеличением масштабов социальной агрессии в осенний период и «возвращением молодежи с отхожих промыслов» была очевидна уже современникам [8].

Опыт непосредственного участия крестьянской молодежи в погромном движении в исследованиях советского периода указывался в качестве основной причины формирования «нового социального типа сознательного молодого крестьянина», который, в свою очередь, противопоставлялся «полукрепостническому дворянскому лидеру» [9, с. 121]. При этом, естественно, умалчивалось о таких последствиях бунтарского опыта, как ослабление функций социального контроля со стороны общины и распространение девиантных образцов поведения, особенно в подростковой и молодежной среде. Нельзя не признать, что революция 1905–1907 гг. придала дополнительное ускорение процессу размытия традиционного уклада крестьянской повседневности, привела к дальнейшему росту преступности [10, с. 476] в империи, к появлению такого феномена, как хулиганство. Серьезный удар был нанесен по авторитету веры во власть отцов, общины, государства. Именно на этом фоне происходило отрицание когнитивной карты, основанной на смирении и покорности, зарождалась протестная основа поведенческой практики, протестная, в том числе, и по отношению к традициям предков.

В числе важнейших условий физиологического характера, детерминирующих социальную агрессию, следует назвать алкогольное опьянение. Тема «пьяного бунта» красной нитью проходит сквозь содержание следственных материалов, рапортов уездных исправников и другой делопроизводственной документации. Так, по мнению самарского губернатора, в ноябре 1905 г. одной из самых «существенных причин, влияющих на возникновение беспорядков», бесспорно, являлось «пьянство крестьян», «совершающих самоуправство и грабежи всегда в нетрезвом виде» [11]. Функциональное предназначение алкоголя в избранном нами аспекте может трактоваться как способ

активации и фактора эмоциональной поддержки состояния массового психоза, а кроме того, как выражение традиционных форм повседневной этической практики.

«Сценарий» драмы, разыгрывавшейся в российской деревне, достаточно «удобен» для типологизации: в каждом конкретном случае алгоритм его воплощения повторяется. Обращает на себя внимание ритуальная сторона «бунтарского» поведения толпы, имеющая определенную логику своего развития и отличающаяся постоянством воспроизводства поведенческого стереотипа. Необходимо признать, что в современной историографии отсутствует устоявшаяся концепция дефиниции бунта как ритуала. Имеется по меньшей мере несколько объяснений его сущности.

В первом случае речь идет о проявлении имманентно присущего традиционному обществу механизма «отреагирования» на накопившееся напряжение, который проявляет себя через повторяющиеся периоды смут [12, с. 68]. По всей видимости, особую роль в формировании подобного поведенческого стереотипа сыграло представление о функциональном значении аграрной обрядности, объективно обладающей циклическим характером. Отчасти это воспроизводство преломленной в архетипах крестьянской ментальности идеи о характере социального развития, о чередовании эпох смирения (социокультурного гомеостаза) и бунта (социокультурного кризиса).

Достаточно убедительным представляется и предложенное З. А. Чеканцевой объяснение бунта в традиционном обществе как адаптивного механизма, ритуала, облегчающего восприятие нового. Хотя, как утверждает автор, бунт и ритуал напрямую не совпадают, но имеют много общего в смысле объяснения их «интеллектуальной конструкции» [3, с. 167].

В одной из своих работ Д. И. Люкшин также попытался воссоздать «классическую» модель, сценарий крестьянского беспорядка, трактуемый автором как «приглашение к диалогу», социальное действие, сигнализировавшее верховным властям о дисфункции основ моральной экономики. Как отмечает автор, в рамках традиционного общества существовали определенные правила, освященные традицией крестьянско-властной коммуникации, выполнение которых создавало некие гарантии стабильности системы патримониальных отношений. Первой реакцией крестьянства на нарушение «условий договора» являлась демонстрация негодования; при обострении ситуации речь шла уже о мелких нарушениях; в случае, если и при этом землевладелец продолжал наступление на крестьянский сегмент системы, происходили собственно беспорядки, «призванные информировать о «несправедливости» высшие органы власти», после чего следовало применение карательных санкций, а затем урегулирование ситуации [12, с. 88]. Несложно заметить, что в основу авторских интерпретаций положено именно представление о функциях этого ритуального действия (если признать его таковым).

Дефиниция бунта может иметь в своей основе указание на характер выступлений. Скажем, Т. Шанин, определяя крестьянское движение 1905–1907 гг. как выходящее за рамки обыденного сопротивления, акцентирует внимание, главным образом, на его вызывающем, массовом и часто демонстративном характере [14, с. 147].

Если же осуществлять определение категории бунта посредством понятий массового сознания и массового поведения, социологизированное значение «бунтарского» ритуала становится очевидным. В свое время Р. Генон об-

ратил внимание на функциональное значение «карнавальных» праздников, смысл проведения которых заключался в необходимости регуляции («канализации» [15, с. 47]) «сатанинских» влечений человека, априори присущих его натуре. Дабы избежать социетального взрыва, общество сознательно допускает возможность кратковременного проявления «скотских» эмоций, «заключив их в тесные рамки, которые они не в силах переступить» [15, с. 47]. Тем самым речь также идет о необходимости социального контроля за регуляцией массовых настроений, подсознательных влечений и чувств во избежание деструктивного асоциального воздействия эмоционального перенапряжения. В этом контексте «бунт» как способ эмоциональной разрядки призван выполнить архиважную социетальную функцию, предупредив собой атомизацию и разрушение общности. Однако выйти за хрупкие границы поведенческого стереотипа также не представлялось возможным, в противном случае процесс деструктивных изменений может оказаться необратимым. Поэтому путем многократного повторения череды поведенческих актов объективно сложилась определенная последовательность выполнения «шагов» социально значимой программы, являвшаяся гарантией необходимой ограниченности проявлений «демонического» начала.

В процессе анализа делопроизводственной документации местных органов власти в российской провинции начала XX в. определенная повторяемость сменяющих друг друга этапов, аналогичных логике развития механизмов стихийного поведения, сразу же обращает на себя внимание. Схематизация процесса массобразования позволяет зафиксировать несколько основных фаз в саморазвитии крестьянского бунта:

– «согласование» через звуковые символы, зрительные образы, силу примера и т.д. (сравним: у Д. В. Ольшанского – эмоциональная стимуляция, «эмоциональное кружение» [2, с. 52–53]);

– возникновение образа объекта агрессии («общий объект внимания и воображения»);

– принесение мнимой жертвы или выдвижение заведомо невыполнимых требований, т.е. провокационные действия толпы («дополнительное стимулирование»);

– превращение в массу, дающую анонимность действий, чувство силы и вседозволенности и, напротив, подавляющую чувство ответственности;

– удовлетворение потребности в регуляции сверхсильных эмоциональных состояний (в оценках мифологизированного сознания – удовлетворение свершившимся возмездием, наказанием сил зла);

– распад или самораспад массы.

Описание «картины погромов» имеет все основания для идентификации с конструктивными элементами обряда и обладает тенденцией к стереотипизации. В свое время С. Прокопович на примере Саратовской губернии воспроизвел последовательность действий участников и «вещное» выражение погромного ритуала: «Картина погромов в Саратовской губернии одна и та же. К усадьбе подъезжает толпа крестьян на парах и тройках, сзади тянутся подводы для хлеба. Большинство крестьян имеют одинаковую форму – короткая куртка, красный кушак, за которым заткнут револьвер; имеются ружья. Ночью по бокам процессии несут зажженные факелы» [5, с. 56]. Разгром предваряла обычно стрельба по окнам, затем крестьяне приступали к грабежу барского имущества, забирая в основном хлеб.

Обращение к обрядовой практике в этом случае будет детерминировано стремлением «упорядочить» собственные действия, придать им форму привычной, формализованной в координатах обычного правосознания, «нормальной» реакции на вызовы, угрожающие витальности крестьянского бытия. Еще одной стороной поведенческого стереотипа выступает необходимость проявления массового сознания как способа регуляции предельного напряжения психики («...неся впереди, как трофей, серебряную шпагу Червякова» [16, с. 3]). Погромное поведение бунтовщиков, таким образом, есть не что иное, как следствие отражения в групповом сознании представления о закономерностях процесса массообразования. Соблюдение априорного порядка действий позволяет активизировать механизмы превращения общности униженных и обездоленных во всеильную «массу».

Поляризация представлений о социальной справедливости в контексте противопоставления Правды и Кривды в родовом сознании великороссов позволяла идентифицировать собственное участие в погромном движении как санкционированное свыше вознаграждение, расплату за долготерпение и страдания. По мнению С. В. Лурье, идея бунта во все времена выступала одной из важнейших составляющих родового сознания русских крестьян [17, с. 144]. Рассматривая проблему мотивации крестьянского поведения в условиях проявления состояния массовой социальной агрессии, нельзя не согласиться с мнением автора о том, что одной из основных причин возникновения бунта будет являться прочтение, интерпретация в коллективном сознании угрозы стабильности и целостности иерархии крестьянского мира [17, с. 144], причем угроза возникнет извне, будет связана с действием враждебных крестьянству сил.

Дополнительным и необходимым в этом контексте стимулом процесса массообразования выступают провокационные действия «толпы». Как можно заметить, требования крестьянских «ультиматумов» (возвращение штрафных денег, арендной платы, дешевой продажи корма для скота, раздачи хлеба, топлива, добровольной уступки всего имущества экономии, а кроме того, что весьма показательно, выдачи денег «на чай», т.е. приобретение алкогольных напитков, измеряемых часто ведрами) не имели ничего общего с подлинными целями социальной агрессии. Крестьяне приступали к разгрому экономического имущества вне зависимости от удовлетворения предъявляемых требований [18, с. 395–396].

Погромные выступления, несмотря на определенные элементы формальной организованности (принятие решения на сходе, агитация вплоть до принуждения: «сожжем», «кто не поедет, виноватым будет» и т.д.), носили, безусловно, стихийный характер. Все действия были подчинены незамедлительному удовлетворению потребности в эмоциональной разрядке, жажде мщения, возмездия, причинения ущерба тому, кто в оценках крестьян являлся социальным носителем образа «врага». «Это наша кровь горит», «так их, арендаторов, и надо» – такими репликами сопровождали крестьяне поджог построек в имении фон Эйнем, арендовавшего их у И. П. Грязнова, в с. Любятино Пензенского уезда [19]. Причины собственного беспокойства крестьяне воплощали в легко узнаваемые, маркированные социальной памятью, ассоциативные образы «зла», т.е. объект агрессии должен был иметь одухотворенный характер, чтобы испытать аналогичные массовым ощущения и эмоции. По мнению Э. Канетти, одной из самых выдающихся характеристик

жизни массы, тем, что можно было бы назвать чувством преследуемости, являлась «особенная гневная восприимчивость и раздражительность по отношению к тому, кто раз и навсегда записан ее врагом» [20, с. 323].

Достижение желаемого результата, сброс, разрядка сверхсильного эмоционального напряжения – эта фаза в развитии социальной агрессии приобретает форму всеобщего ликования, массового «праздника», «карнавального действия» или «масленичного гуляния» со всеми присущими последнему атрибутами: «Народ этот кричал: «Ура!», бабы пели песни», «кто-то играл на гармонии» (с. Любятино Пензенской губ.); «крестьяне обоюго пола, распивая водки и вина, закусывали варением и плясали под беспорядочные звуки пианино», «Е. Мясин похитил из кладовой наборную сбрую... надел ее на себя и позвякивал бубенцами» (с. Б. Верхи Пензенской губ.) [21, 22].

Анализ документальных источников свидетельствует о незначительной по времени продолжительности массовых выступлений, будь то агрессия или паника. Масса не способна к продолжительным волевым установкам, поведенческий алгоритм развивается стремительно, либо переходя в стадию эмоционального расслабления, апатии, либо наталкиваясь на более сильное переживание, состояние паники.

Весьма уместным в этом отношении представляется сравнительный анализ поведенческих алгоритмов российского крестьянства двух революций. Обращаясь к выделенной нами раньше схеме саморазвития массы в условиях перехода в состояние массовой агрессии, следует отметить совпадение основных этапов-фаз в эволюции поведенческой практики крестьянства в периоды погромного движения, что объясняется наличием объективных закономерностей в процессе развития массовых социальных движений в целом. Однако если трактовать бунт как «приглашение к диалогу», следует учесть, что крестьянские беспорядки образца 1917 г. в подобную схему уже не вписывались. По всей видимости, это объясняется тотальной дезинтеграцией социально-политических связей прежнего имперского уровня.

В условиях активизации правотворческой функции крестьянской общины фаза «согласования» сверхсильных эмоциональных состояний будет реализовываться посредством «привычных» механизмов, как правило, «принудительным приказом всего схода» [23], что никоим образом не отменяло стихийный характер движения.

Особо следует остановиться на проблеме интерпретации причин, вызвавших вспышку социального насилия. В высказываниях непосредственных участников процесса при всем субъективизме оценок весьма явственно проступают две силы, вызывавшие стихию русского бунта: отсутствие действенного репрессивного аппарата, что в представлениях крестьян традиционно прочитывалось как признак слабости государства и ориентация на производные так называемого общинного архетипа [24].

Следующим параметром для анализа выступает такой необходимый для ритуальной стороны бунта элемент, как выдвигание заведомо невыполнимых требований, провокация насилия. Переход коллективной аффективности в агрессию становился возможным в результате выполнения определенной последовательности «бунтарских действий». Здесь также налицо воспроизводство традиционных представлений о способах выражения протестного поведения. Необходимость переживания чувства ущемленности человеческого достоинства стимулировала крестьян к поиску мнимой жертвы, тем более

что их классовый враг был практически полностью дезориентирован. Феномен «коллективного садистского самоутверждения» в подобной ситуации во все не случайно оказывался направленным на заведомо слабого [25, с. 137].

Однако при сравнении алгоритма погромных выступлений с ситуацией 1905–1907 гг. мы наблюдаем отдельные признаки формализации отношения крестьян к соблюдению ритуала. Необходимо отметить, что в 1917 г. в процессе делегитимизации «старого» порядка этот элемент поведенческого стереотипа претерпевает значительную трансформацию. Из-за эскалации насилия в отношении «социально чуждых» элементов крестьяне захватывали уже опустевшие экономии, при этом первоочередными задачами становился передел имущества, накопленного путем эксплуатации и на этом справедливом в глазах крестьян основании считавшего народным достоянием, а также уничтожения последних, знаковых образов «мира помещиков». В этом случае провоцирования помещиков либо администрации имения на оказание сопротивления для запуска механизма формирования фрустрационных переживаний в принципе и не требовалось, и погромные действия все чаще и чаще приобретали рутинный характер, превращаясь в повседневную практику. Массовые действия крестьян, направленные на разгром и расхищение имущества помещика, постепенно утрачивают характер возмездия в условиях возможного применения насилия со стороны государства, а значит, не требуется достижения той степени общности, которая дает ощущение уверенности в анонимности действий и чувство освобождения от ответственности.

Имеются свидетельства и о соблюдении (безусловно, изрядно формализованного и уже утратившего свое сакральное значение) ритуала магического наказания «сил зла». Крестьяне упорно отстаивали свое право хранить верность традиционным нормам поведенческой практики. Формы социального возмездия отчасти выступают здесь проявлением языческого ритуала, необходимого для закрепления в коллективной памяти факта достижения победы над «враждебными силами». Воспроизводство архаичных религиозных представлений (вспомним святочных колядовщиков, ряженых в образы различных масок) указывает, помимо прочего, опять-таки на синкретизм общественного сознания крестьянства, отдельные формы которого взаимопроникают и взаимодополняют друг друга [26].

Таким образом, «бунт» в психологии российского крестьянства являлся не просто оборотной стороной одной и той же поведенческой модели, имея в качестве своей противоположности «смирение», но и выступал каналом сброса того эмоционального напряжения, которое вызывалось вмешательством государственных структур и культуртрегеров как прежнего уклада производственных отношений, так и будущего, предвещавшего наступление индустриальной эпохи, в повседневную жизнь крестьянских общин. В условиях социально-политической дезинтеграции, охватившей российскую империю в период Первой мировой войны, погромные настроения теряют изрядную толку своего традиционного функционального предназначения, и, хотя внешне крестьяне в силу привычки еще демонстрируют приверженность ритуальной стороне дела, массовая социальная агрессия приобретает несколько иное содержание, дефиниция которого будет иметь весьма широкий диапазон вариаций: от тривиального мародерства до попыток преодолеть социальную энтропию. В силу вышесказанного можно предположить, что перелом ситуации в дальнейшем будет объективно обусловлен восстановлением в «картине

мира» российского крестьянства прежней системы взаимосвязей между социумом и государством.

Список литературы

1. **Булдаков, В. П.** К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи (Методологический аспект) / В. П. Булдаков // Революция и человек. Социально-психологический аспект. – М. : ИРИ РАН, 1996.
2. **Ольшанский, Д. В.** Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с.
3. **Чеканцева, З. А.** Методологический синтез, междисциплинарный подход и возможности обновления истории «снизу»: Франция XVII–XVIII вв. / З. А. Чеканцева // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. – М. : Логос, 2005.
4. ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3002. Л. 28–97.
5. **Прокопович, С.** Аграрный кризис и мероприятия правительства / С. Прокопович. – М. : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1912. – 225 с.
6. ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 2979, 3002.
7. ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43. Л. 186 об., 245 об., 340.
8. ГАРФ. Ф. ДП. ОО. 1906. Оп. 236. Д. 700. Ч. 19. Л. 225.
9. **Ниякий, В. В.** Нижегородская деревня. Облик и настроения классов в первой российской революции / В. В. Ниякий. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1981. – 187 с.
10. **Миронов, Б. Н.** Социальная история России периода Империи (XVIII – начало XX вв.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства : в 2-х т. / Б. Н. Миронов – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – Т. I. – 548 с.
11. ГАСамО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 1920. Л. 43.
12. **Лурье, С. В.** Метаморфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала / С. В. Лурье. – СПб. : Тип. им. Котлякова, 1994. – 288 с.
13. **Люкшин, Д. И.** Вторая русская смута: крестьянское измерение / Д. И. Люкшин. – М. : АИРО – XXI, 2006. – 144 с.
14. **Шанин, Т.** Революция как момент истины. 1905–1907 гг. – 1917–1922 гг. / Т. Шанин ; пер. с англ. – М. : Весь мир, 1997. – 560 с.
15. **Генон, Р.** О смысле «карнавальных» праздников / Р. Генон // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 45–48.
16. Саратовский листок. – 1905. – № 216. – 3 ноября.
17. **Лурье, С. В.** Как погибла русская община / С. В. Лурье // Крестьянство и индустриальная цивилизация. – М. : Наука, 1993. – С. 136–173.
18. **Сперанский, Н. Н.** Крестьянское движение в Самарской губернии в годы первой русской революции / Н. Н. Сперанский // 1905 год в Самарском крае. – Самара : Изд-е Самарского губкома РКП(б), 1925. – С. 377–556.
19. ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43. Л. 245 об.
20. **Канетти, Э.** Масса / Э. Канетти // Психология масс. – Самара : БАХРАХ, 1998.
21. ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 8. Л. 5 об., 8.
22. ГАПО. Ф. 42. Оп. 9. Д. 43. Л. 90, 245 об.
23. ГАПО. Ф. Р-2840. Оп. 1. Д. 566. Л. 13.
24. ГАПО. Ф. Р-2840. Оп. 1. Д. 227. Л. 14–14 об.
25. **Булдаков, В. П.** Красная смута. Природа и последствия революционного насилия / В. П. Булдаков. – М. : РОССПЭН, 1997. – 376 с.
26. ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 77.

«БОЕВАЯ РАДУГА НОВОЙ КУЛЬТУРЫ» (АНАРХО-МИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ПРОВИНЦИИ)

Статья посвящена краткой истории существования нижегородской группы анархо-мистиков (1925–1930). Эта организация как часть довольно разветвленной подпольной сети, созданной при деятельном участии выдающегося русского анархиста масона А. А. Карелина и его ближайших сподвижников, с одной стороны, представляла собой довольно беспомощную оппозицию формирующемуся авторитарному режиму, а с другой – попытку по-своему преодолеть традиции политического анархизма, прошедшего через глубокий исторический кризис в послеоктябрьские годы. Статья основана на материалах из фонда ВЧК-ОГПУ-КГБ, недавно переданных в Центральный архив Нижегородской области (сведения по делу 21446 по обвинению В. Бера вводится в научный оборот впервые).

Создание индустриального общества в России, начатое при царском режиме и продолженное с еще большим размахом при Советской власти, вызвало к жизни новые формы духовного освоения и оправдания действительности. Радикальное внедрение индустриальных методов и средств материального производства сопровождалось болезненной ломкой традиционных православных устоев жизни и широким распространением в социальном пространстве страны различных еретических, мистических, оккультных течений. В последнее время в научной и популярной литературе появляется большое количество материалов о различных интеллигентских квазимасонских (или парамасонских) группах, преимущественно столичных [1, 2]. Между тем и в провинции деятельность посвяtitельных «орденов» и мистических «братств» проходила вполне оживленно, и сроки за это получались не меньшие.

Одной из ячеек пестрой эзотерической «сети», полуподпольно создаваемой в противовес «властной вертикали» молодого советского государства, был нижегородский *Орден Духа*, объединивший группу молодых интеллигентов. «Рыцарский» орден в поволжском городе создавался энергичными усилиями московских наставников из окружения известного российского анархо-коммуниста и анархо-мистика Аполлона Андреевича Карелина (1863–1926). Одним из апостолов нового учения на нижегородской земле стал Владимир Бер, учившийся какое-то время на химическом факультете местного университета. В 1924 г. он познакомился со своими университетскими однокашниками с агрономического факультета Николаем Матюшиным, Юрием Ковлейским, Михаилом Владимировым и другими молодыми людьми, введя в их круг эмиссара из Москвы математика А. С. Пастухова. Трудно установить реальное количество членов «орденского» кружка: в заключении по делу об участниках нижегородской «к-р [контрреволюционной] анархо-мистической организации», подписанном 30 октября 1930 г., фигурировало 13 человек (М. А. Владимиров, С. Н. Раева, В. В. Бер, Е. В. Постникова, Н. А. Матюшин, Е. И. Дрейман, Ю. П. Ковлейский, А. А. Серкина-Копашина, А. М. Коноплянцев, М. М. Пальмов, И. В. Римский-Корсаков, В. Э. Мичурин, Л. Л. Шорчева) [2], однако, как следует из материалов следствия, последние двое из

указанного списка имели личные связи с «рыцарями», но сами в «орденской» структуре не состояли.

Один из создателей и руководителей нижегородской анархо-мистической организации В. Бер уже в мае 1925 г. был приговорен к трехлетней ссылке в Среднюю Азию за «распространение антисоветской литературы среди студенчества» [3, л. 58–59] (именно эта литература, вероятно, и определяла идеологическое лицо «рыцарей» *Ордена Духа*).

Что же представляла собой духовная пища молодых анархо-мистиков? В деле Владимира Бера содержатся материалы, что-то вроде машинописного самиздата 1920-х гг., которые раскрывают анархистскую точку зрения на происходящие в стране и мире события. Весьма самокритично описывается роль анархизма в российских революционных событиях в листовке *«Молодые люди и Анархизм»*. Автор, подписавшийся псевдонимом Альфа, сетует по поводу «вечно новой истории», когда «вчерашние по молодости «революционеры» неизбежно превращаются в «сегодняшних реакционеров», когда ярые некогда анархисты пошли на службу в ЧК или устроились в этой жизни в качестве инженеров, агрономов, трестовых дельцов или спекулянтов [3, л. 6]. Анархизм не одержал победы, принеся себя в жертву новому революционному сдвигу, однако «было сделано то, что можно и нужно было сделать»: в противном случае либо восторжествовала белая контрреволюция, либо массы отвернулись бы от революции и «диктатура была бы еще тяжелей» [3, л. 6 об.]. «Теперь анархисты частью расстреляны, частью погибли по застенкам или тюрьмам, частью заполняют их, медленно умирая», однако приближаются новые величайшие события, которые возлагают ответственность на молодежь, сохранившую преданность анархистским идеалам [3, л. 6]. «Так будем готовить себя к настоящему революционному делу, после которого не осталось бы камня на камне от зверинца государств» [3, л. 6 об.], – призывает автор листовки своих единомышленников.

В материале *«Свобода, государство и анархия»* идет идейная борьба против «зараженной и искаленной мысли государствоведов», всеми силами насаждающих в обществе фетиш государственности. «Только анархический строй, – провозглашается в статье, – может открыть простор для того, чтобы вырабатывались люди, а не игрушки обстоятельств. Жизнь не по указке и не под влиянием импульсов, исходящих извне, а при постоянной напряженности всех сил и с готовностью нести все последствия принятых решений – вот обстановка и жизненная среда анархии, и только она может подготовить появление настоящего человека и создать сильную людскую расу, которая сразу изменит воззрения на задачи и темп исторического прогресса» [3, л. 7 об.]. Два других анонимных документа – *«Цель анархистов»* [4, 5] и пьеса *«Анархисты»* – представляют собой программно-политическое и литературное изложение взглядов А. Карелина и его анархо-коммунистических соратников. Примечательно, что в обеих работах соблюдена политкорректность по отношению к правящей партии: «Если большевики, называющие себя коммунистами, уйдут от власти, она будет захвачена какой-либо другой общественной группой – вернее всего, монархически настроенной частью буржуазии и старого чиновничества» [3, л. 12 об.]. Отсюда отказ помогать «реакционной швали» и готовность не мешать большевикам.

Если все названные образцы самиздата пропагандировали положения *политического анархизма*, то в *«Очерках не-современной психологии»* уже

намечается приближение к проблемам *анархизма мистического*. Незвестный автор полемизирует со стереотипами так называемой современной психологии («психологии «фаустовской» культуры денег, власти и машин»), направляя свой анализ «вглубь – к данным, которые могли бы послужить основанием культуры, иной, чем культура танков, счет и декретов» [3, л. 14]. Рост производительных сил общества не является самоцелью, это лишь средство для выполнения высших задач культуры данного общества. Проблема тесной взаимосвязи хозяйственных и духовных сверхзадач не получила достойной разработки ни в религиозно-сектантских учениях, ни в социалистических концепциях, в том числе и у анархистов. Большевики интуитивно осознают необходимость создания новой культуры, однако они организуют страну диктаторскими методами, и это может привести в будущем к глубочайшей реакции, которая «оторвет Россию от жизни и... бросит в потусторонние грезы» [3, л. 17 об.]. «Перед лицом этой перспективы Россия, «града грядущего взыскующая», – анархическая или анархо-сектантская, рационалистическая или гностическая, – должна ввести в самый порядок представлений своих расчет и темп культурных ускорений в технике, общественном хозяйстве, установке индивидуальностей и групп, развертывании идеалов» [3, л. 17 об.]. Традиционные политические и религиозные организации не справились с новыми вызовами истории, поэтому иные силы понесут ускорение в отсталую среду, «преломляя через настроения и образы этих ускорений свои общественные и религиозные устремления» [3, л. 18]. Примечательно, что в качестве примера такой альтернативы называются франкмасоны [3, л. 18]. «Наша «трудовая» интеллигенция, – пишет автор «Очерков», – напуганная безобразиями господствовавшей церкви, отмахивается и руками и ногами от гностических символов, не пытаясь их и понять. Она губит этим колоссальные творческие силы русского сектантства, заставляя его жить представлениями, далекими от современности. Если она захочет исправить эту ошибку и в то же время поймет момент, она даст своеобразную историческую попытку развернуть боевую радуго новой культуры, от материалистического бакунизма до гностического «озера Светлояра». Но захочет ли она?» [3, л. 18 об.].

В интеллигентских кругах оказалось немало людей, готовых положительно ответить на этот вопрос, хотя и не так уж много, чтобы реально влиять на «более отсталую среду» и успешно конкурировать с «социальным материализмом», взятым на вооружение большевиками. С самого начала деятельность нижегородских интеллигентов, организовавшихся в *группу мистиков-анархистов*, приобретает явную политическую окраску и подпольную направленность. Уже на первом собрании (летом 1925 г.) шли разговоры не только о «светлом» и «темном» мистицизме, но и – одобрительно – об «эсеровщине», о Савинкове, о Национальном центре, о политическом анархизме [6, л. 41 об.]. Тогда же поставлены конкретные практические задачи: наладить связи с московскими соратниками, приступить к вовлечению в свои ряды новых единомышленников, вести пропаганду анархо-мистических идей. Речь шла о легальных методах оппозиционной деятельности, однако не забыли и о конспирации: решено собираться не более чем всемером [6, л. 42].

Впрочем, идейно-политическое лицо нижегородской группы окончательно так и не сформировалось. Позднее в своих следственных показаниях Михаил Владимиров довольно путано писал: «...по своему существу наша организация была контрреволюционной, антисоветской, хотя, по моему мне-

нию, блок со всеми партиями, в т[ом] ч[исле] заграничными, отрицался. Я от кого-то слышал, что мы (организация анархистов-мистиков) должны быть союзниками анархистов других течений, хотя они как будто бы были настроены против мистического анархизма. Можно сказать, что мы были фракцией анархистов» [6, л. 98].

Не имея сил и средств для участия в традиционно-политическом оппозиционном движении, антибольшевистски настроенная интеллигенция попыталась реализовать себя в эзотерической ипостаси. В качестве альтернативы «упадку культуры, интересов у людей на земле, в частности в СССР», московские идеологи анархо-мистицизма и их нижегородские последователи развивали идею мистического преображения человечества и связанной с этим рыцарской миссией членов «орденских отрядов». В 1925–1926 гг. наши наиболее подготовленные мистики-анархисты обретают себя в новом качестве, получив посвящение в «*отряд рыцарей Ордена Духа*» (другое название – «отряд ордена Рыцарей Духа»). Первым нижегородским «рыцарем» стал Кирилл Башкиров, а вслед за ним – часто при его прямом посвятельном участии – А. Серкина, Ю. Ковлейский, Н. Матюшин, С. Раева, Е. Постникова, Е. Дрейман и М. Владимиров. Основой «посвятельного» ритуала было рассказывание (чтение запрещалось) легенды мистического содержания. «Посвящение, – вспоминала Анастасия Серкина, – начиналось словами: «Рыцари круга, замыкайтесь». Все вставали, затем садились опять. Содержание легенды хорошо не помню. Помню только, что там говорилось о лестнице, о вхождении на лестницу. По окончании легенды опять все вставали, рассказчик говорил: «Рыцари круга, замыкайтесь». Все садились и начинали говорить о чем угодно, только не о легенде, в этот вечер говорить о легенде не полагалось...» [6, л. 316]. Перед посвящением полагалось незаметно пробраться в церковь и провести там ночь в приготовлениях. Однако даже москвич А. С. Пастухов не смог толком разъяснить неопитам ритуальные тонкости, поэтому на практике они не соблюдались [6, л. 145 об.].

Самые надежные нижегородские «рыцари» после испытательного срока получили еще одно повышение – они вошли в *Орден тамплиеров*, который представлял собой высший этаж парамасонской организационной лестницы, возведенной Аполлоном Карелиным и другими посвященными. В частности, в сентябре 1929 г. Михаил Владимиров посвящен в рыцари Ордена тамплиеров московским профессором Н. И. Проферансовым, который входил в число высших руководителей этой структуры. Тамплиером стала также Софья Раева и, возможно, Михаил Пальмов.

В разговоре с молодым нижегородцем Н. И. Проферансов охарактеризовал Орден тамплиеров (и Орден Духа как его составную часть) как мировую организацию, ведущую борьбу со всякой властью. Еще в 1915 г. на Парижском съезде Ордена тамплиеров якобы было принято решение о распространении орденой деятельности на Россию, Индию и Китай. По словам профессора, в январе 1930 г. должен был состояться тамплиерский съезд в Москве, на который вновь посвященный Владимиров тоже был приглашен, но не сумел приехать по семейным обстоятельствам [6, л. 67–68].

Судя по всему, нижегородцам, в отличие от их столичных наставников, не удалось создать вполне «мистическую» атмосферу в своем кружке, хотя они стремились по мере сил и возможностей следовать «орденской» традиции как в ритуалах, так и в своем литературном творчестве. В частности, в

местном самиздате вращались не только произведения А. Карелина, А. Солоновича и прочая эзотерическая литература из Москвы, но и мистические стихотворения М. Владимирова, а также рукопись В. Бера «Материализм», в которой он выступает против указанного философского направления с позиций субъективного идеализма. В целом, по свидетельству Ю. Ковлейского, мистический анархизм Ордена Духа был очень слабо выражен, и все покрывалось сплошной мистикой, которая «представляет из себя сбор различных положений из самых различных религий и отрицает и даже ведет борьбу с так называемой официальной церковностью, особенно католической» [6, л. 327 об.]. Аморфность идейных принципов и неопределенность путей практического осуществления мистических целей не могли содействовать созданию жизнестойкой организации. Как только первоначальный интерес к высоким материям стал угасать, кружок распался. Последней каплей стало поведение Ю. Ковлейского, который, разочаровавшись в «выдуманной оккультной покладке» Ордена, продолжал приходить на собрания, причем иногда в нетрезвом виде, ради Екатерины Дрейман, за которой он ухаживал. Скандальное поведение одного из «рыцарей» даже стало причиной поездки М. Владимирова в Москву для консультации с Н. И. Проферансовым, курировавшим нижегородскую организацию [6, л. 104–105]. В апреле 1928 г. «орденские» встречи прекратились, и, хотя уже осенью того же года пошли разговоры о возобновлении совместной деятельности, больше ни одного общего собрания (если верить М. Владимирову) не проводилось [6, л. 104–105].

Квазиорденская риторика и символика в условиях провинциальной советской России не могли иметь серьезного социального значения, если не считать того, что «рыцарская» романтика давала психологическое удовлетворение особенно экзальтированным особам, тем более что посвященных «рыцарей» в Нижнем Новгороде были считанные единицы. Между тем за «эзотерическим» чудачеством оформлялась реальная политическая и культурная оппозиция новой власти, которая вдохновлялась вполне земными причинами: потерей материального достатка (большинство нижегородских анархо-мистиков происходили из зажиточных в дореволюционном прошлом семей), неприятием «материалистического» засилья в духовной жизни, насильственным высокомерием власти по отношению к интеллигенции и крестьянству. Однажды в разговоре с М. Пальмовым Владимиров очень выпукло обрисовал политические задачи своего кружка: «Каждый анархист должен войти в какую-либо часть общества с целью изучить настроение массы, чтобы затем вести работу для окончательной победы духа. В России, стране аграрной, приходится пользоваться современной колхозной кампанией и через противодействие ей при помощи агрономов (отметим, что сам Владимиров и некоторые его соратники закончили агрономический факультет Нижегородского университета – В. С.), а также сектантов, являющихся проводниками духа, вести контркампанию хотя бы о преимуществах индивидуального хозяйства. Необходимо бить правительство экономикой, возможно, на... продовольственном кризисе, т.к. интеллигенцию и крестьянство может расшевелить только экономика и религия» [6, л. 143]. Главной целью является «установление абсолютной свободы духа», но для выполнения этой задачи, поскольку в России «привыкли к тирании, как царской, так и советской», необходимо создание, хотя бы временно, «крепкого правительства» из руководителей анархо-мистического движения и тамплиерских структур [6, л. 143].

Таким образом, анархист проектирует замену авторитарного советского государства другим *государством* неопределенной политической ориентации подобного типа. Подобные планы, которые, вероятно, не являлись авторским замыслом нижегородского активиста, проясняют как негативное отношение к «мистикам» идейных анархистов, о чем упоминалось выше, так и заинтересованность со стороны органов государственной безопасности.

Владимиров и его единомышленники не ограничились разговорами. По его признанию, в конспиративной деятельности развивались следующие «линии»:

– «литературная»: участие в собраниях как официальных, так и неформальных литературных кружков (в частности, в Краеведческом обществе, в кружке при профсоюзе торговых служащих, а также в кружке выпускника Высших литературных курсов Виктора Мичурина), «чтение своих стихотворений и литературные споры, в которые вплетались мистические рассуждения»;

– «агрономическо-интеллигентская»: пропаганда оппозиционных идей в среде сельских специалистов, с тем чтобы «обработанные» в нужном духе агрономы продолжили распространение анархо-мистической идеологии непосредственно в крестьянской среде. Здесь же следует упомянуть попытку создания легального(!) «кружка богоискателей», который должен был готовить пропагандистские кадры – так называемых «странников» – для нового хождения в народ;

– «сектанство»: стремление найти опору в религиозно-еретической среде, а именно в общинах адвентистов и евангелистов, поскольку первые как будто имели много родственного с мистиками, а вторые казались близкими к толстовству [6, л. 93 об.].

В сферу идеологической «обработки» анархо-мистической группы попало в общей сложности несколько десятков человек, хотя далеко не все из них оказались восприимчивыми к причудливой смеси оппозиционно-политических и оккультных идей. Особенно стойкими оказались «догматики»-сектанты: они даже попытались осуществить контрпропаганду и вовлечь в свою веру анархизирующих городских интеллигентов!

Трудно сказать, чем могла закончиться конспиративная деятельность нового отряда «критически мыслящих» интеллигентов, особенно во взрывоопасную эпоху насильственной коллективизации, однако нижегородская группа мистиков-анархистов так и не успела приступить к реальной «контрреволюционной» деятельности. В деле упоминается немного фактов (не считая разговоров и утопических планов), которые могут «потянуть» на такую характеристику: в 1928 г., по словам С. Раевой, она «положила или расклеила» листовки в защиту религии в клубе торговых служащих, а в 1929 г. в ночь на Пасху наклеила листовку на Варварской церкви [6, л. 75] (в следственном деле сохранилась копия прокламации, призывавшей сограждан сплотиться вокруг церкви, «униженной, но всемогущей уничтожить второе крепостное право ВКП(б)» [6, л. 350]).

Между тем аресты «рыцарей» Ордена Духа прошли значительно позже – в июне–сентябре 1930 г. Позднее для выяснения связей нижегородцев с московскими «кураторами» подследственных перевели в столицу, в Бутырскую тюрьму. 30 октября того же года подписано заключение, в соответствии с которым членам нижегородской анархо-мистической группы инкриминировались статьи 58/10 и 58/11 Уголовного кодекса. По приговору Особого совеща-

ния при Коллегии ОГПУ Михаил Владимиров получил 5 лет заключения в лагере на Соловках. Раева, Постникова и Дрейман были осуждены на 3 года лагерей. Остальные на 3 года сосланы: Римский-Корсаков, Мичурин, Ковлейский и Пальмов – в Казахстан, Серкина – в Западную Сибирь, Матюшин – на Урал. Такой же диапазон – от пяти лет тюрьмы до трех лет ссылки – был определен и для членов «родственного» кружка в Москве, носившего название Орден Света, аресты в котором начались примерно в то же время [33]. Вероятно, именно причастность нижегородцев к разветвленной антисоветской сети и стала причиной для столь суровых приговоров, несоизмеренных со скромной оппозиционной деятельностью провинциальных «профанов». Власть не могла приступить к полномасштабной реализации своих планов индустриального преобразования народного хозяйства, не устранив препятствий как внутри правящей партии, так и в склонном к анархистским увлечениям российском обществе.

Список литературы

1. **Никитин, А. Л.** Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России: Исследования и материалы / А. Л. Никитин. – М., 2000.
2. **Брачев, В.** Чекисты против оккультистов / В. Брачев. – М., 2004.
3. ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Д. 21446. Л.
4. **Карелин, А.** Манифест анархистов-коммунистов / А. Карелин // Волна. – 1924. – № 49.
5. Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. : в 2-х т. – М., 1999. – Т. 2.: 1917–1935 гг. – С. 444–458.
6. ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3. Д. 17900.

БОМБЕЖКИ г. ГОРЬКОГО И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья представляет собой локальное исследование, опыт историко-психологической реконструкции массового сознания и влияния на его динамику такого чрезвычайного фактора, как бомбежки в годы Великой Отечественной войны. На основе изучения источников личного происхождения предпринята попытка проанализировать формы и направленность психических реакций гражданского населения, их зависимость от различных обстоятельств, переход от чрезвычайных, шоковых форм к повседневным, обыденным.

Определяя терминологически состояние психических реакций гражданского населения прифронтовых областей в начальный период Великой Отечественной войны, необходимо прежде всего учитывать специфику региона и масштаб воздействия войны на сознание его населения. Понятие кризисной ситуации, на наш взгляд, может быть лишь применено к такому состоянию общественного сознания, при котором индивид или масса совершают действия, нехарактерные для их обычного (повседневного) поведения. В начальный период Великой Отечественной войны на территориях, прилегающих к линии фронта или находившихся в глубине страны, реакция гражданского населения на начало войны приобретала различные формы – от позитивных, конструктивных, патриотических реакций (заявления о мобилизации, сбор средств и т.п.) до негативных, деструктивных проявлений (дезертирство, антиправительственная пропаганда, страх). Так или иначе, но все эти психические реакции были связаны с прогностическими компонентами сознательной деятельности человека. В зависимости от того, насколько длительной и тяжелой рисовалась война в сознании населения, зачастую зависел характер и направленность поведения человека.

Война, как экстраординарное событие, сопряженное с опасностью для жизни, вторгалась в жизнь человека прежде всего ожиданием смерти и готовностью к ней. Причем в тылу эти ощущения были сопряжены не с непосредственным контактом с противником (как на фронте), а либо с ожиданием возможной отправки на фронт, либо с действиями вражеской артиллерии, авиации, допущением возможности оккупации. Все эти явления в начальный период войны были непривычны для гражданского населения, несмотря на весь масштаб предвоенной подготовки.

Необходимо иметь в виду, что Великая Отечественная война, особенно ее начальный период, – это период наивысшего проявления кризисной ситуации в обществе. Кризисную ситуацию в обществе здесь следует рассматривать как противоположность повседневности. Повседневность характеризуется *повторяемостью* явлений и процессов, что составляет основу размеренного, обыденного ритма жизни. Соответственно, в сознании человека отношение к повседневности характеризуется *привыканием*. Напротив, кризисная ситуация в социально-психологическом смысле – это период, в течение которого происходит ряд экстраординарных событий, вызывающих нарушение привычных социально-психологических реакций. Кризисная ситуация прекращается тогда, когда либо нейтрализуются последствия экстраординарного

события, либо когда такие события, регулярно повторяясь, становятся привычным делом, т.е. повседневностью.

Еще в 1948 г. профессор Е. К. Краснушкин в работе «Нервные и психические заболевания военного времени» писал: «В отличие от психогенного воздействия стихийных бедствий, действующих однократно, психогенное воздействие войны характеризуется многократностью. Это постоянная, многократная угроза смерти. Этот момент многократности... вызывал в массе, и особенно в армии, своеобразную иммунизацию в отношении его. Действующая наиболее остро на личность неожиданность психического потрясения сменялась ожиданием его и знанием угрожающей опасности, а отсюда и меньшей остротой восприятия его. Это убедительно демонстрировалось отношением гражданского населения к воздушным атакам, которых большинство людей скоро перестало бояться. Таким образом, непосредственное острое и предельно мощное воздействие... «эмоции-шока» на психику постепенно ослабевало...» [1, с. 264].

Психическое состояние человека во время бомбежки в период Великой Отечественной войны сегодня можно попытаться восстановить на основе анализа прежде всего источников субъективного, личного происхождения: мемуаров и дневников. Мемуары хотя и уступают дневникам по степени репрезентативности, непосредственности и «живости» описания, тем не менее в данном случае представляют значительный интерес для исследователя. В них такое экстраординарное, впечатляющее событие, как бомбежка, прочно и надолго врезавшееся в память автора мемуаров, представлено достаточно информативно. Дневники ценны тем, что созданы буквально «по горячим следам» и в них почти с буквальностью и идентичностью отражено психическое состояние автора в момент переживаемой бомбежки.

Город Горький и Горьковская область, являясь одним из наиболее важных индустриальных центров страны, был также и одной из основных мишеней для фашистской авиации. В течение трех военных лет (1941–1943) на Горьковскую область было совершено 47 налетов, в которых участвовало 811 самолетов [2, с. 267]. Первый налет был совершен на город 4 ноября 1941 г. Вот как это событие описывается в источниках.

Вера Ивановна Усова работала на Горьковском заводе им. В. И. Ленина в должности делопроизводителя. Она вспоминает: «Я была свидетелем этой первой страшной бомбежки... Подходя к проходной завода, удивилась тому количеству людей, которые здесь стояли. Вдруг стены здания как будто вздрогнули, покачнулись, полетело из окон стекло... Это упала бомба. Все бросились бежать через проходную... Мне казалось, что мы бежали до какой-то деревни всего минут двадцать. А потом оказалось, что мы прибежали в деревню Дубенки, расположенную в пяти километрах от завода... В этой деревне я испытала настоящий страх, когда услышала, как грохочут расположенные почти за каждым домом зенитки, которых я в жизни никогда не видела» [3, с. 155–156].

Такое чрезвычайное событие, впервые имевшее место в г. Горьком, вызывало в сознании человека состояние, близкое к шоку. Ощущение возможной близкой смерти, вид погибших, трудность прогнозирования собственной безопасности усугубляли это состояние: «...то, что предстало нашему взору, было ужасно. Перед нами был огромный котлован, заваленный досками, кирпичами, балками от деревянных перекрытий, а сверху дыбились горы же-

лезобетонной арматуры, балок, врезавшихся друг в друга и удерживающих в своих «объятиях» людей. Зрелище было ужасным. Люди буквально висели на этой арматуре, защемленные ею за руки, ноги, туловище... Людям, защемленным железными балками, которых удавалось спасти лишь на 8–10 день, подавали еду наверх по нехитро сделанным конвейерам. Я стояла и плакала» [3, с. 156]. Но, несмотря на деморализующий эффект бомбежки (и в этом одна из феноменальных психических реакций, наблюдавшихся в советском обществе в годы войны), осознание первостепенной необходимости выполнения производственного задания (и, конечно, страх перед наказанием за прогул) заставляло людей возвращаться на рабочее место. «Завод продолжал работать, несмотря на серьезные разрушения... Уходили только тогда, когда выполняли полностью задание, тыл и фронт были неотделимы» [3, с. 156]. На Горьковском заводе «Красное Сормово», например, еще 21 июля 1941 г. (т.е. до начала бомбардировок) было принято решение работу по сигналу «воздушная тревога» не прекращать¹.

Естественно, что в подобной ситуации более всего страдали люди с особо тонкой психикой. Это наглядно можно проиллюстрировать выдержками из дневника Ивана Иосифовича Пермовского (1911–1983), который во время войны работал художником в управлении ЖКХ Горьковского автозавода им. В. М. Молотова. В его дневнике очень подробно описаны те ощущения, которые он пережил во время бомбежки и после нее, наблюдая результаты. Чрезвычайное и повседневное, жизнь и смерть перемешаны в этих ощущениях. Одно переходит в другое, совмещаясь, создает весьма своеобразную реакцию на кризисные события.

Бомбежку 4 ноября И. И. Пермовский описывает в самых «живых» красках. «Самолет летал так низко над крышами домов зловещей тенью, нагоняя ужас и сея панику... Было жутко от осознания своей незащитности... Все как бы притаилось, приготовилось к чему-то неизбежному... Тревожно бьется сердце». Но в то же время «любопытство гонит на улицу» [4, с. 875]. Укрываясь от осколков, он бежит в находившийся рядом окоп. «Страх постепенно проходит. Больше людей. Пропадает чувство заброшенности» [4]. Это замечание иллюстрирует позитивное, конструктивное влияние группы, коллектива, пусть и вынуждено организованного, на индивидуальное сознание.

19 ноября 1941 г. И. И. Пермовский делает такую запись: «Когда я прохожу мимо этой небольшой воронки... мне представляется то, что было так недавно... Но это было тогда, а сейчас все это воспринимается как нечто такое, что и должно было быть, например, так же вот, как и необходимая потребность вместить в себя обед на фабрике-кухне» [4, с. 872]. Цепкий и впечатлительный ум художника чутко прислушивается и фиксирует состояние горожан и их отношение к происходящему: «Но люди приходят и уходят, сменяются лица, и уже свыкаешься с мыслью о том, что это так и должно быть, что война неумолима и требует жертв, что бытие определяет сознание. И уже после обеда, ощущая приятную тяжесть в желудке, все это не кажется таким страшным, как это было тогда» [4, с. 872]. Тем не менее в этих словах слышится попытка некоторого самоуспокоения. Дальнейшие записи свидетельствуют о повышенном внимании и страхе автора, вызванных бомбежками. Он неоднократно возвращается к месту падения бомбы. Его внимание

¹ Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО).

привлекают пятна крови, по которым ходят люди, спешат по своим делам, потому, что «каждый хочет жить» [4, с. 874].

Первые бомбежки вызвали к жизни разнообразные формы психического реагирования на сопряженную с опасностью смерти ситуацию. Все они еще не были устоявшимися, поскольку еще не возникло привыкание к постоянной потенциальной опасности. Утром 5 ноября после ночной бомбежки кто-то «ругался вполголоса, покоряясь своей судьбе, мужчины сплевывали, жадно затягиваясь махорочным дымом... старушки крестились: «Господи, спаси и помилуй!». Как видно, реакции во многом были обусловлены половозрастными психофизическими особенностями.

Можно предположить, что постепенному привыканию к такому экстраординарному событию, как бомбежка, послужило массовое созерцание ее трагических результатов. Психика нормального человека должна была либо привыкнуть, адаптироваться к этому, либо дать сбой, разрушиться. А. А. Пермовский описывает, как люди всматривались в изувеченные, обгорелые трупы («смотрят, впитывают в себя страшный облик смерти»), боялись («А завтра, быть может, я так же буду валяться мешком перемолотых, раздробленных костей. Сверлит сознание неотвязная мысль») и... живут дальше («Бабы, туго перетянутые фартуками, равнодушно разметают тротуар. Они заметут и этот жалкий остаток... А ведь еще вчера в этом остатке рождались мысли») [4, с. 878–879].

Оправившись от первоначального шока, люди пытались прогнозировать дальнейший ход событий и минимизировать степень опасности. Те, кто имеют возможность эвакуироваться, делают это: «Хоть куда-нибудь подальше от этого ада. В ближайшую деревню... Люди панически бегут из Соцгорода (рабочий поселок при горьковском автозаводе – В. С.) из бараков, которые вблизи завода. Бегут с места работы». Кто-то строит бомбоубежище, с тревогой ожидая следующей ночи. Кто-то возмущается плохой, по их мнению, организацией противоздушной обороны: «Такой завод не сумели сбереечь! Позор!» [4, с. 880]. Некоторые целый день не вылезали из «щелей», ожидая налета. Те, кто вынужден был не прекращать работу, в первое время также были подвержены паническим настроениям. Причем эти настроения усиливались эффектом толпы. А. А. Пермовский приводит услышанный им рассказ: «Я в ДОЦе (деревообрабатывающий цех – В. С.) работаю, у нас там бомб не сбрасывал близко, а паника большая была. Все, как овцы, разбежались! Начальник цеха говорит: «Работайте, я за все отвечаю» – куда тут! Как началось. Сам первый смотался. Но всего интереснее то, что за мной целая толпа увязалась. Куда я, туда и они. Я в убежище – и они тоже. Набились до черта, а рядом пустые. Все больше в кучу хотят. Еле отвязался» [4, с. 881].

Видимо сам неплохой психолог, А. А. Пермовский, верно характеризуя переживаемый им момент, пытается в то же время убедить себя в необходимости привыкания к нему. «Нервы натянуты... И к этому привыкнешь. Как привыкают к разным неудобным вещам, это входит в быт, в повседневную жизнь... Жизнь идет своим чередом. Жизнь требует, чтобы люди привыкали» [4, с. 882]. После бомбежки паника вспоминалась с юмором: «Вспомнить все это просто смешно, а тогда не до смеха было». 3 декабря: «Прошел месяц с первой бомбардировки, люди уже иное забыли или вспоминают как забавный анекдот о том, как они перепугались... Ведь вспомнить об этом нельзя без улыбки. Ведь смешны же бывают люди, охваченные безотчетным страхом» [4, с. 884].

Однако такое состояние успокоенности еще было еще далеко от стабильности. Даже несмотря на то, что «жизнь вошла в свою колею» и что «скучища неимоверная», новые бомбардировки вернули состояния страха. 4 февраля 1942 г.: «Неужели прежние кошмары вернутся снова? Три месяца спокойной жизни прошли». Тем не менее уже к лету 1942 г. реакция на результаты бомбежки становятся более скупыми и «повседневными». Вот описание момента после бомбежки: «Пришел больной отец, посмотрел блуждающим, непонимающим взглядом на толпу, на обернутый труп дочери.

– Я ведь говорил ей! Не стой тут, иди в щель, я ведь говорил ей!

– Пальто-то жалко, новое.

Ушел, махнув рукой!» [4, с. 907]. Здесь и излишнее пренебрежение к опасности со стороны девушки, и беспомощная безучастность отца, и не совсем уместная жалость к вещам со стороны случайных свидетелей.

27 июля 1942 г. автор дневника, так ярко описавший первые бомбежки, между прочим замечает: «Обычная картина... Налеты превращаются в систему...» [4, с. 908]. В дальнейшем он практически не упоминает о них, уделяя большее внимание другим, в том числе бытовым, сюжетам.

Несколько в ином ключе (хотя и сходно по динамике отношения к ним) описывает бомбежки Василий Алексеевич Лапшин (1895–1975), который во время войны работал на Горьковском автозаводе в должности главного энергетика. С 1 декабря 1940 г. на протяжении всей войны он вел свой дневник регулярно и достаточно подробно, и такое неординарное событие, как бомбежка, не могла не привлечь его внимания. Отражение в дневнике этих событий во многом определялись спецификой сознания, характера и темперамента автора. В отношении к бомбежкам он предстает не просто как человек, но как муж, отец, профессионал, гражданин и патриот. Сравнивая дневниковые записи, исследователь может проследить различия в восприятии одного и того же события представителями разных половозрастных и профессиональных категорий населения. Сразу хочется оговориться, что В. А. Лапшин уделяет бомбежкам минимум внимания. Более значительное место занимает описание производственных успехов и проблем, жизни семьи, собственных ощущений, политических событий, боевых действий и т.д. Человек более занятый на производстве, отвечавший за бесперебойную работу электрооборудования, он, скорее всего, просто не успевал создать полное впечатление от бомбежек и «по горячим следам» записать ощущения. Так, первую бомбежку 4 ноября 1941 г. В. А. Лапшин описывает в несколько «приемов», поскольку получал информацию о ней в течение нескольких дней. В записи от 5 ноября он лишь констатирует факт: «Вчера фашистские самолеты появились над нашим заводом около 4 часов... сбросили бомбы». Но в то же время так описывает свои ощущения: «Весь день прошел в напряженном состоянии» [4, с. 767].

Огромная занятость на заводе, сверхурочная и ненормированная работа («Завод приводим в порядок») пока просто не давали возможности автору дневника отвлечься и отреагировать на бомбежки адекватно степени опасности. Он пишет далее: «12 ноября. Две ночи подряд дежурил в отделе. Хотя обе ночи прошли спокойно, но все время находился в напряженном состоянии... Утром сегодня был налет... А я эту ночь решил отоспаться после дежурства, разделся и заснул, как убитый. Никаких выстрелов не слышал» [4, с. 768]. Видимо, семья В. А. Лапшина первоначально не совсем верно оценивала степень опасности налетов: возвращались из убежища еще до отбоя воздушной

тревоги, его дочери во время налетов вели себя спокойно («не боятся, не плачут»), сам автор не пренебрегал во время опасности личной гигиеной («надо было побриться, умыться»). Но в то же время автор дневника отдавал себе отчет в неизбежности и вероятной повторяемости налетов: «В общем, теперь каждый день, каждый час жди налета. Кончилась спокойная жизнь и работа».

Только 15 ноября, увидев результаты бомбежки 4–5 ноября, В. А. Лапшин отмечает в дневнике, как это страшно и какие чувства вызывало увиденное: «Утром были видны обгоревшие трупы, части тела, разбросанные во круг. Вероятно, тут были и маленькие ребята, т.к. валялись детские принадлежности. Жутко было смотреть на эту картину убийства ребят и взрослых». Впервые в дневнике появляется запись о желании отомстить немцам «за все» [4, с. 769]. По мере того как автор дневника знакомился с разрушительными результатами бомбежек, в его сознании усиливалось чувство мести к врагу и сожаления о разрушенном: «27 ноября. Иду мимо разрушенных первыми двумя бомбежками профтехкомбината, гаража, барачков... Видя эти разрушения, сделанные фашистами, зло берет. А в особенности вспомнишь об убитых во время бомбардировки – еще больше обозлишься, и хочется, чтобы поскорее уничтожить всех этих сволочей» [4, с. 770].

С февраля 1942 г. В. А. Лапшин и его семья постепенно привыкают к бомбежкам и, с другой стороны, понимают, что усиленные меры противовоздушной обороны значительно снижают опасность прямого попадания бомбы. 24 февраля автор отмечает, что тревога была с 11 до 2 часов ночи, но бомбежки не было. В убежище никто не пошел, дочери читали. Характерно, что при возникновении определенного привыкания к потенциальной опасности, чувство самосохранения отнюдь не притуплялось. Как только возможность попадания бомбы становилась более или менее реальной, семья В. А. Лапшина не пренебрегала бомбоубежищем: «29 мая. Сегодня ночью фашистские стервятники совершили налет... Затем позвонил домой, но уже никто не отвечал, т.к. ушли в подвал... бабушка очень испугалась. Напугалась так, что ноги отнялись... 9 июня. Около половины второго началась стрельба из зениток... Вопреки обыкновению собирались спокойно... Бабушка только волнуется. Ходит по комнате и шепчет: «Господи Иисусе!.. 11 июня. Около 2 часов ночи была воздушная тревога. Я так хотел спать, что не вставал с постели» [4, с. 789–790].

В. А. Лапшин уделял воздушным тревогам минимум внимания, когда он находился на рабочем месте. Но вот когда находился дома, старался увести семью в убежище. Сказывалась ответственность за семью, семейные ценности. «22 июня 1942 г. Уже целый год должны маскировать освещение. Наш завод и мы, работающие на нем, перестроились на военную ногу. Привыкли к воздушным тревогам. Теперь во время стрельбы рабочие продолжают спокойно работать за станками» [4, с. 791]. Аналогичные записи были сделаны 24 июня, 14, 24 и 27 июля, 26 и 31 августа и т.д.

Пожалуй, одну из самых тяжелых бомбежек автозавод пережил в ночь с 4 на 5 июня 1943 г. Бомбежки продолжались до 8 июля. Впервые в дневнике В. А. Лапшина говорится о реальной опасности попадания бомбы в дом, где жила семья автора. Соответственно, реакция на опасность была адекватной: «Сегодня была жуткая ночь... началась бомбежка, да такая сильная, какой я еще не помню. При каждом взрыве бомбы наш дом вздрагивал. Мы стояли на лестнице. Зоя прижалась к маме. Галя ко мне... 22 июня. В эту

ночь мне пришлось быть дома, и первый раз за все бомбежки сидел в подвале. Ребята, Валя и бабушка тоже там сидели» [4, с. 831].

Таким образом, на основе анализа источников личного происхождения мы можем сделать определенные выводы о влиянии фактора бомбардировок тыловых областей на психическое состояние гражданского населения.

На всем протяжении бомбардировок (1941–1943) отношение к опасности, связанной с риском для жизни, было различным. По мере повторяемости такого чрезвычайного события, как бомбежка, в сознании населения возникла реакция на саму бомбежку, на ее потенциальную возможность (воздушная тревога) и на ее результаты.

Эта реакция зависела от различных факторов: от особенностей психики субъекта восприятия (половозрастных, профессиональных, моральных, ценностных и др.), от степени реальности опасности для жизни субъекта (местонахождения, приближенности к потенциально опасному объекту бомбометания), от степени привыкаемости субъекта к потенциально возможной опасности.

Формы реакции также различны. В зависимости от сочетания вышеназванных факторов это могла быть и паника, и страх, и повышенное религиозное чувство, чувство мести, а в конечном итоге – более спокойная реакция и привыкание, осознание повседневности, ординарности происходящего.

Окончательное, полное привыкание к бомбежкам для человека с нормальной психикой не возможно даже в условиях войны. Но это привыкание в значительной степени прослеживалось у той части гражданского населения, которая осознанно, пусть и вынужденно, подвергала себя этой опасности (рабочие и служащие оборонных предприятий). Главным же мотивом превращения чрезвычайной ситуации в повседневную в сознании гражданского населения тыловых областей была воля к жизни и сопротивлению как в масштабе личности, так и в масштабе общества. Немаловажно отметить при этом и организующую роль государства.

Список литературы

1. Нервные и психические заболевания военного времени : сб. научн. работ / под ред. проф. А. С. Шмарьяна. – М. : Медгиз, 1948.
2. Забвению не подлежит. Страницы Нижегородской истории (1941–1945 годы). Книга третья. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное изд-во, 1995.
3. **Усова, В. И.** В тылу, как на войне / В. И. Усова // За Родину! За Победу! (Воспоминания сотрудников НГМА – ветеранов войны и тыла). – Вып. III. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2000.
4. Общество и власть. Российская провинция. Июнь 1941–1953 гг. – М. ; Нижний Новгород, 2005. – Т. 3.

УДК 100.7

Р. К. Стерледев

XXI ВЕК: ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

В статье анализируется конфликт в гносеологии XX в. между естествознанием и эзотеризмом. В качестве объяснительного средства вводится понятие фундаментальной гносеологической установки и рассматриваются различные ее варианты, а также методологические следствия, вытекающие из данного теоретического построения.

Одна из особенностей XX в. связана со специфической гносеологической ситуацией, проявляющейся в двух основных моментах: во-первых, в глубоком отставании познания человека от познания природы и, во-вторых, в остром конфликте научного и ненаучного познания, проявляющемся в различных формах, наиболее острой из которых является борьба между естествознанием и эзотеризмом. На настоящий момент наблюдается экспансия и наступление вне-научного знания и его претензия на признание его научным.

Данный конфликт в познании существовал всегда, но в XX в., особенно во второй его половине, на фоне отставания познания человека от познания природы он приобрел особую остроту. Противостояние вне-научного знания и науки особенно обострилось во второй половине XX в. по ряду причин. В связи с бурным развитием средств массовых коммуникаций во второй половине XX в. в Европу, США и страны социалистического лагеря хлынул поток эзотерических знаний из Азии (Японии, Китая, Тибета) и Северной Америки. В XX в., особенно во второй его половине, наблюдается резкое нарастание, преимущественно в странах Европы и Америки, количества и распространности так называемых паранаук и парапрактик, которые иногда называют обобщенным словом «эзотеризм».

Можно выделить несколько причин данного феномена. Паранауки и парапрактики сопровождают различные сферы человеческой деятельности издавна. Но процветают они в таких областях сферы обслуживания, развитие которых не удовлетворяет запросам потребителей в полной мере. Сюда в первую очередь относится медицина.

Второй причиной является рост неуверенности большей части населения как во всем мире, так и особенно в России в своем будущем (материальном, карьерном, финансовом, личностном и т.д.). Человек хочет гарантированно знать лучший вариант своих действий в ряде ситуаций повышенного риска. Современные науки, например прогностика, футурология и др., здесь мало чем могут помочь, и эта брешь, в свою очередь, заполняется такими параучениями и парапрактиками, как астрология, различные системы гадания (Таро, сонники, руны, И-цзин и т.д.).

Одной из главных причин бурного развития эзотеризма в XX в. выступает наличие в различных областях человеческого существования и деятельности так называемых областей неопределенности. Данные феномены называются областями неопределенности, поскольку, с одной стороны, не могут быть объяснены с позиций современной науки, а с другой стороны, теоретические объяснения, которые даются данным феноменам со стороны так называемых эзотерических наук, не могут быть приняты научной общественностью. Вся область концепций, связанных с объяснением аномального эмпирического базиса эзотеризмом, называется наукой по-разному: псевдонаука, паранаука, антинаука и т.д. (Н. И. Мартишина [1, 2], Э. П. Кругляков [3], Б. Шмакин [4], А. Б. Мигдал [5], К. П. Иванов [6] и др.).

Начиная с середины XX в. все эти феномены, которые далее мы называем обобщенным термином «аномальный эмпирический базис», стали привлекать к себе все более пристальное внимание, как правило, непрофессиональных исследователей, которые занялись сбором и первичной обработкой информации по данным феноменам. В дальнейшем некоторые исследователи попытались дать объяснение этой необычной эмпирии на основе выдвижения ряда новых гипотез, например таких, как «микрорептонное излучение», «биополе», «многоуровневое видение мира» (пико- и фемтомиры), новые субстраты жизни, торсионные поля и т.д. (В. П. Казначеев [7]; Э. В. Бачурин [8]; А. П. Дубров, В. Н. Пушкин [9]; А. И. Вейник [10]; Г. И. Шипов [11] и др.). Но подавляющее большинство научной общественности до сих пор предпочитает либо просто не замечать этот новый эмпирический массив, либо опровергать все или часть феноменов этого рода, обращая главное внимание на явные случаи шарлатанства и осторожно обходя те случаи, которые с традиционной точки зрения необъяснимы (В. С. Матвеев [12] и др.).

Эта странная ситуация, когда одни ученые признают наличие эмпирических данных, но не могут рационально объяснить их, а другие именно на основании необъяснимости отказываются признать наличие самих эмпирических данных, является одним из признаков глубокого кризиса научной рациональности и научной методологии XX в. Создается впечатление, что современная наука вышла к какому-то очень важному рубежу в своем историческом развитии. Практическая жизнь требует объяснения данного массива, предполагающего переход на более глубокий уровень понимания, но сама наука сделать этого не может не только в силу отсутствия смелых идей и «сумасшедших гипотез», но еще и потому, что господствующая парадигма рациональности не дает возможности для выбора хотя бы одной из догадок. Вышеописанная ситуация возникла не случайно, а является следствием того, что ряд исследователей называет «кризисом открытия самих себя».

Таким образом, острый конфликт налично. Эзотеризм наступает, требуя у науки места под солнцем. Наука сопротивляется, призывает разоблачать псевдонаучные концепции, поскольку аномальный эмпирический базис не укладывается в рамки научной картины мира, которая является гигантским обобщением соответствующей научной практики. И наука, и эзотеризм апеллируют к практике, и каждая из этих традиций указывает, что ее концепции являются апробированным обобщением специфической области человеческого опыта.

Можно ли примирить науку и эзотеризм, объединить их и создать новый тип науки и новый тип мировоззрения? Нет, они несовместимы. Более того,

они замкнуты каждый на себя и не стыкуются друг с другом. Возникает вопрос: что же делать? Эзотеризм утверждает, что современное научное видение мира устарело, его надо «отбросить». Но отбросить современную научную картину мира невозможно. Ее теоретические построения «работают», и, более того, вся современная цивилизация построена именно на данной базе.

Можно ли отбросить эзотеризм, «загнать» его в рамки культурологии и «заточить» его там навеки, чтобы он не мешал ученым? Это также не является оптимальным вариантом, т.к. аномальный эмпирический базис основывается на феноменах тех самых «областей неопределенности», настоятельно требующих изучения. Ведь от игнорирования эзотеризма эти «области неопределенности» никуда не исчезнут. Ни то, ни другое не является оптимальным решением, соответствующим стратегическим интересам человечества. В данном случае необходимо иное решение: надо подняться выше этих гносеологических традиций, «встать над ними», посмотреть на конфликт между ними с позиций философского уровня.

На формирование гносеологического инструментария известное влияние оказывает характер взаимосвязи двух фундаментальных структур, построенных на отражении объективно всеобщего в окружающем человека мире и построенных на отражении объективно всеобщего в духовном мире человека. Характер их взаимосвязи, в свою очередь, зависит от понимания взаимосвязи между человеком и миром. Здесь возможны два основных варианта. Первый вариант можно назвать экзистенциальным: он утверждает, что человек случаен в чуждом, враждебном ему мире. Из такого решения, имеющего фундаментальное мировоззренческое значение, вытекает и ряд методологических установок для формирования различных гносеологических принципов, понятий, норм рациональности. Агностицизм, иррационализм, пессимизм имеют в своей основе такой метафизический разрыв между природой и человеком.

Второй вариант основан на признании глубинной взаимосвязи между природой и человеком. Его можно условно назвать эссенциальным (сущностным). Эта традиция имеет глубокие корни в истории философской мысли (Эпикур, Б. Спиноза, Л. Фейербах и др.), в учениях русских космистов (К. Э. Циолковского, Н. Ф. Федорова, Е. И. Рериха и др.). Установки, даваемые этой традицией, имея противоположный характер, не обладали в то же время достаточно высокой степенью научности, поскольку наука не давала до определенного времени всей необходимой для этого информации. И только появление в 70-х гг. XX в. антропного принципа, сформулированного Б. Картером, позволило придать этой гениальной догадке строго научное обоснование. В основе этого принципа лежит идея Л. П. Эренфеста: если изменить имеющиеся значения фундаментальных постоянных даже на небольшую величину, то наша Вселенная не могла бы быть такой, какой она является в настоящее время.

Развивая идею Л. П. Эренфеста, Б. Картер, Р. Дикке, П. Девис [13] и др. пришли к идее антропного принципа, сущность которого в одном из его вариантов была сформулирована так: «Я мыслю, следовательно, мир такой, какой он есть». Этот тезис может быть истолкован не только субъективно-идеалистически, но и строго объективно: мы должны понять мир во всей его потенциальной сложности, с учетом самой онтологии мышления. Одно из значений антропного принципа в этом аспекте заключается в том, что он дает

возможность, обосновывая «эссенциальную» точку зрения на взаимосвязь природы и общества, по-иному подойти к проблеме рациональности.

Антропный принцип, взятый как методологическое основание, дает возможность связать природу как целое и человека как его наиболее развитую часть, в силу чего в гносеологических нормах и принципах откладывается то содержание антропокосмических связей, которое и становится одним из фундаментальных оснований в гносеологической деятельности. С этой точки зрения в антропном принципе можно выделить три компонента: природу (нашу Вселенную), наблюдателя, количественные соотношения, связывающие их между собой. Второй компонент антропного принципа, выступающий как положение о наличии наблюдателя, позволяет применительно к рациональности выдвинуть идею о трех типах фундаментальных гносеологических установок, входящих в познавательно-практическую парадигму мыслящих существ, и осуществить философскую экстраполяцию данного принципа на аномальный эмпирический базис [14].

Фундаментальная гносеологическая установка – это теоретическая предрасположенность к определенному типу видения объекта познания, процедур познания, трактовки результатов познания и т.д., проявляющаяся в определенном наборе ограничений и предписаний. Фундаментальная гносеологическая установка выступает как некая неявная идея, проявляющаяся в большинстве своем как негласное требование, которое, с одной стороны, выступает как результат определенного типа гносеологического опыта, а с другой – воспринимается как аксиома.

Фундаментальная гносеологическая установка первого типа выступает в качестве методологического требования: каков мир, таков и человек; в человеке не может быть ничего такого, чего не было бы в актуальном мире. Вся классическая научная рациональность опирается на данную гносеологическую установку, в основе которой лежат законы, выведенные из наблюдения за миром.

Это метаметодологическое требование, которое проявляет себя в явном или неявном (скрытом) виде. В методологическом аспекте фундаментальная гносеологическая установка первого типа применительно к научному познанию проявляется как требование презумпции естественности и как функция от нее – соблюдение таких принципов, как наблюдаемость, воспроизводимость, повторяемость, экспериментальная проверка гипотезы и т.д. Эти требования отражают аспект предписаний. Но имеется и аспект запретов. Аспект запретов, в свою очередь, выступает в виде требования не вводить в научное познание представлений, не соответствующих понятию «естественного», т.е. не выводимых из понятий естественного, содержание которых не может быть проверено с помощью естественно-научных средств проверки.

Фундаментальная гносеологическая установка первого типа требует соответствующей ей научной картины мира. Мир – это природа, естественное. Он включает в себя все, в том числе и человека. Отсюда понятия «естествознание», «естествоиспытатель». Формула, описывающая мир, может иметь такой вид: мир – это определенный тип «вместилища», т.е. пространства, плюс фундаментальные носители массы и протяженности. Такой классический вариант видения мира был дан еще в античности в философской системе Демокрита; данная бинарная схема действовала в науке и до начала XX в.: мир – это атомы и пустота, т.е. это то, что лежит в основе мира. Атомы считались последним

неделимым элементом мира. В течение всего XX в. физика искала такие первоэлементы. Сначала в качестве подобных рассматривались классические элементарные частицы: протоны, нейтроны, электроны и т.д. Позднее их место заняли кварки. А в конце XX в. на эту роль стали претендовать суперструны. Вещественно-полевой вид материи, развиваясь, порождает более сложные уровни организации материи: химический, биологический и социальный.

Если посмотреть внимательно на «географию» зон неопределенности, то видно, что болевая точка современной науки связана с человеком: 90% всего аномального эмпирического базиса так или иначе связано с человеком. Получается, таким образом, что человек как явление природы является более «богатым», чем «просто природа», т.е. природа минус человек. Осознание этой ситуации требует изменений прежде всего на метаметодологическом уровне, т.е. изменения типа фундаментальной гносеологической установки: фундаментальная гносеологическая установка первого типа должна быть дополнена фундаментальной гносеологической установкой второго типа. Основная идея второй фундаментальной гносеологической установки неявно была сформулирована Д. Уиллером и может быть выражена так: каков человек, таков и мир. Во второй фундаментальной гносеологической установке в качестве антецедента выступает в настоящий момент совокупность феноменов различных видов: вещественных, энергетических, информационных, содержание которых имплицитно содержит в себе ряд принципов и положений, трактующих интегральную природу человека более широко, чем это возможно с точки зрения первой фундаментальной гносеологической установки. В качестве консеквента во втором случае должна выступать новая, принципиально иная картина мира, сочетающая в себе ряд старых принципов и положений и новых, спроецированных из антецедента. Этот новый тип фундаментальной гносеологической установки дает более широкое видение мира. Мир оказывается более сложным, чем он видится с точки зрения фундаментальной гносеологической установки первого типа, т.к. в человеке сложность мира проявляется сильнее, ярче и разнообразнее, чем в чисто природном варианте.

Третьей фундаментальной гносеологической установкой, возможной пока только в будущем, может выступать диалектическое единство идей, принципов и положений, образованных на базе двух вышеназванных фундаментальных гносеологических установок.

Из второй фундаментальной гносеологической установки можно сделать ряд гипотетических следствий: во-первых, предположить, что необъяснимость ряда аномальных феноменов, относящихся к природе человека, связана с тем, что субстрат человека классическим естествознанием рассматривался как некая целостность только под углом зрения актуального (земного) бытия, т.е. в соответствии с фундаментальной гносеологической установкой первого типа. Фундаментальная гносеологическая установка второго типа позволяет выдвинуть гипотезу о том, что субстрат человека можно и необходимо рассматривать еще и под углом зрения потенциального (космического) бытия. При этом реальность одного типа можно считать активной, функционирующей, реальности же других типов – «дремлющими», не актуализирующимися до наступления определенных условий.

Рассматривая эти две фундаментальные гносеологические установки в аспекте рациональности, можно ввести такую характеристику фундаментальных основ рациональности, как мерность, т.е. такие количественные па-

раметры реальности, которые явно или неявно берутся за основу при построении картины мира, включающей в себя и нашу Вселенную как целое, и человека как ее часть. Существовавшая до сих пор фундаментальная гносеологическая установка первого типа (каков мир, таков и человек) может быть названа мономерной, поскольку все свои теоретические построения она требовала строить на основе одного наличного типа реальности. Эволюция ее содержания шла от синкретизма на базе мономерности до системности на той же мономерной основе. Вторая же фундаментальная гносеологическая установка (каков человек, таков и мир) требует замены мономерного видения мира на полимерное его видение и создания системности уже на базе потенциального видения мира. Понятие рациональности получает здесь более широкую базу, дающую возможность объяснить и необъяснимые в настоящий момент феномены, так или иначе связанные с природой человека и его деятельностью.

Список литературы

1. **Мартишина, Н. И.** Когнитивные основания паранауки / Н. И. Мартишина. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 1996. – 187 с.
2. **Мартишина, Н. И.** Наука и паранаука в духовной жизни современного человека / Н. И. Мартишина. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 1997. – 178 с.
3. **Кругляков, Э.** Чем угрожает обществу лженаука? / Э. Кругляков // Вестник Российской Академии наук. – 2004. – Т. 74. – № 1. – С. 8–16.
4. **Шмакин, Б.** Наука и псевдонаука: динамика коэволюции и конфронтации / Б. Шмакин // Здравый смысл. – 1997. – № 4. – С. 34–41.
5. **Мигдал, А. Б.** Отличима ли истина от лжи? / А. Б. Мигдал // Философия науки. – 2000. – № 1 (7). – С. 3–13.
6. **Иванов, К. П.** Источник лженауки – некомпетентность / К. П. Иванов // Вестник Российской Академии наук. – 2003. – Т. 73. – № 1. – С. 48–50.
7. **Казначеев, В. П.** Космопланетарный феномен человека: Проблемы комплексного изучения / В. П. Казначеев, Е. А. Спирин. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-е, 1991. – 304 с.
8. **Бачурин, Э. В.** По Ту Сторону Абсурдного Настоящего (комментарий к книге Жака Валле «Виза в Магонию») / Э. В. Бачурин. – Пермь : Аура ; Эстор, 1991. – 93 с.
9. **Дубров, А. П.** Парапсихология и современное естествознание / А. П. Дубров, В. Н. Пушкин. – М. : Соваминко, 1989. – 280 с.
10. **Вейник, А. И.** Термодинамика реальных процессов / А. И. Вейник. – Минск : Наука и техника, 1991. – 576 с.
11. **Шипов, Г. И.** Физика вакуума / Г. И. Шипов. – М., 1993. – 150 с.
12. **Матвеев, В. С.** Загадки и резервы психики / В. С. Матвеев. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 240 с.
13. **Девис, П.** Случайная Вселенная / П. Девис. – М. : Мир, 1985. – 160 с.
14. **Стерледев, Р. К.** Рациональность как философская проблема: антропокосмический аспект : автореферат дис. ... канд. философ. наук / Р. К. Стерледев. – Екатеринбург, 1992. – 24 с.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ¹

Статья посвящена рассмотрению феноменологии как методологической основы изучения различных аспектов повседневности. Автором анализируется понятие «жизненный мир» как одно из основных понятий феноменологии Гуссерля. Гуссерль развил идею «жизненного мира», мира нашей обычной повседневной деятельности и здравого смысла. В то же время непризнаваемая реальность жизненного мира является основой и матрицей всякой научной деятельности. Феноменология как философское направление, возникнув в начале XX в., плодотворно развивалась и стала междисциплинарной гуманитарной методологией.

Существование человека всегда рождало вопрос о способах и основаниях его пребывания в мире, и в каждую историческую эпоху оно несло в себе ответ в форме миропонимания и мирочувствования. Человек начала XXI в. живет в изменившемся социальном мире. Изменились социальные связи и отношения, изменились коммуникационные взаимодействия, изменилась повседневная жизнь. Внутренние взаимосвязи между разнообразными сферами жизнедеятельности человека обеспечивают развитие общества, его целостность и неповторимость на каждом временном этапе. Поэтому все большую значимость приобретают исследования многообразия сознания, внутреннего опыта переживаний, различных форм повседневности. Пристальное внимание к теме повседневного усиливается в последние десятилетия из-за стремления философской мысли отыскать скрытые, неявные структуры в жизнедеятельности человека, определенным образом полагающие различные состояния его бытия.

Всякое исследование социальных проблем предусматривает выбор теории, т.к. в теории накапливается продуктивный исследовательский опыт. Развитая теория указывает перспективное направление дальнейшего анализа, т.е. выполняет методологическую функцию. Мир повседневности – мир здравого смысла – является объектом социальной феноменологии, философской традиции, берущей свое начало в трудах Э. Гуссерля, его теория «жизненного мира» явилась импульсом для феноменологической социологии (П. Бергер, Г. Гарфинкель, Т. Лукман, А. Щюц). Феноменология с ее установкой на множественность реальностей, в которых существует социальный субъект, стала методологической основой изучения различных аспектов повседневности.

Феноменология вообще со времени своего появления является весьма существенной частью гуманитарной мысли. Ее влияние так или иначе можно проследить во всех направлениях современной философии и дисциплинах культуры.

Основатель феноменологической философии Эдмунд Гуссерль установил, что любое объективное образование смысла исходит от познающего субъекта. Поэтому в феноменологии речь не идет о мире в себе, а лишь о ми-

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект 06-03-28302 а/В.

ре, с которым устанавливается связь человека в его сознании. Мировой опыт индивида является частью его опыта жить в мире с другими. Это мир доверия, который, по-видимому, открыт нам без вопросов. Этот само собой разумеющийся предпосылаемый мир смыслового опыта Гуссерль называет жизненным миром. В своих поздних работах он отстаивал мысль о том, что в основании единой универсальной науки должна лежать именно концепция жизненного мира.

В отличие от идеальных теоретических конструктов науки, жизненный мир не создается искусственно, он дан естественным и очевидным образом. Это мир дорефлексивных очевидностей обыденного сознания, мир повседневной жизни, на почве которого вырастают все науки. Они вторичны по отношению к жизненному миру, ибо жизненный мир, как пишет Гуссерль, «действительно наглядный, действительно испытываемый и доступный опыту мир, в котором практически разыгрывается вся наша жизнь, остается как он есть в его собственной сущностной структуре, в его собственном конкретном стиле причинности неизменным, что бы мы безыскусно или в порядке искусства ни делали» [1, с. 54].

Исследователи полагают, что понятие «жизненный мир» употребляется Гуссерлем в трех смыслах. Жизненный мир в узком смысле является основанием всех наук и всех вообще слоев человеческой практики (особенных миров); особенный мир образуется в русле ведущей целевой установки на основе жизненного мира, понятого в узком смысле; наконец, жизненный мир в широком смысле охватывает все особенные миры и жизненный мир в узком смысле.

Таким образом, жизненный мир – это мир допредикатного субъективно-релятивного опыта, мир изначальных очевидностей, преданных и постоянно значимых во всяком объективированном опыте в качестве само собой разумеющегося. Жизненным миром охватывается не только личная, но и общественная жизнь человека, поэтому он является всеобщим миром совместной жизни. Тематизация жизненного мира есть попытка направить интерес феноменологического исследования по ту сторону «наивного» мира повседневной и естественно-научной жизни.

Гуссерль утверждает, что мир, а также человеческое бытие конституируются в трансцендентальной субъективности. Сознание, субъект, эго называются трансцендентальными, поскольку рассматриваются в смысл-дарующем отношении к трансцендентальному миру. В сознании конституируются не вещи, а значения и смыслы, через которые сознание подразумевает эти вещи. Таким образом, трансцендентальная феноменология есть описание сущностных структур конституирования мира в трансцендентальной субъективности. В более позднем творчестве Гуссерля присутствуют такие темы, как временность, интерсубъективность, историчность. Сознание определяется как временный поток. Гуссерль пытается понять, как сознание конституирует мир и себя как единство прошлого, настоящего и будущего, а также как мы переживаем других как субъектов в их собственных правах и как мир приобретает смысл как мир для всех. Интерсубъективность или социальное существование носит временный характер. Социальная временность исторична. Гуссерль подчеркивает исторический характер науки и самой философии. Выступая против объективизма, он вводит понятие жизненного мира, мира живого опыта, радикально отличного от научно-интерпретированного

мира. Свойства и структуры, приписываемые «объективными» науками «объективному» миру, сами являются результатами процесса идеализации и математизации жизненного мира.

Если обратиться к истории происхождения и развития данного понятия, то нельзя не заметить, что концепция жизненного мира с самого начала служит как рецепт против научно-институционального представления о жизни. В любом словаре понятие «жизненный мир» противопоставляется естественно-научным определениям, представлениям о социальных отношениях, социальном окружении и социальной среде, в которой живет человек. В то же время понятие «жизненный мир», или «мир повседневности», в каждом словаре связывается с кризисом и критикой в развитии социальных наук. Так, например, в словаре «Современная западная философия» В. В. Калиниченко в своей статье «Жизненный мир» пишет: «В феноменологической установке (благодаря феноменологической редукции) жизненный мир открывается как коррелят интенционально действующей субъективности, как сфера значений, конституированных трансцендентальной субъективностью. Редукция (*эпохэ*), благодаря которой жизненный мир становится предметом исследования, проводится относительно миров объективных наук и порождающих их теоретических интересов. Науки пытаются понять мир «сам по себе», рассматривая природу и человека как объекты, отвлекаясь от интерсубъективных условий, при которых эти объекты попадают в поле теоретических интересов и становятся доступными. В забвении европейской наукой своей жизненно-мировой основы, своих истоков Гуссерль видит основную причину ее кризиса. Этот кризис раскрывается как своего рода плата за те успехи, которых науки добились как раз за счет замещения жизненно-мировых реалий логико-математическими предметами (*физикализм*), в рамках которых уже не помещаются запросы исследований мира и человека» [2, с. 103].

Уже до Гуссерля, до философских высот это понятие было поднято культурфилософом Р. Ойкенем в работе «Познавать и переживать» (1912). В ней он противопоставляет понятие жизненного мира «целерациональному» понятию бытия. Понятие «жизненный мир» также возникло и на позитивистском базисе. В сочинении Р. Авенариуса «Человеческое определение жизни» (1891) естественно-научное определение мира уходит на второй план и возникает понятие «жизненный мир» для того, чтобы описать человеческие отношения, человеческую социальность и ту культуру, которая окружает человека.

Эти попытки ввести в философию понятие жизненного мира были известны Гуссерлю. Уже тогда, когда он писал работу «Идея-один» (1913), он искал основание для развития феноменологии в представлениях о мире как естественных представлениях, что означает противопоставление естественного окружающего мира идеальному окружающему миру, который описывают науки. К естественному окружающему человека миру относится прежде всего мир вещей, ценностей, товаров, который существует как социальный интерсубъективный мир людей, в котором они живут, пользуются установившимися мыслительными формами, моделями поведения и в то же время развивают новые формы мышления, поведения, познания и социальных отношений, которые характерны для каждой исторической эпохи. Для жизненного мира, по Гуссерлю, характерны непосредственная очевидность, интуитивная достоверность его феноменов, понимаемых и принимаемых индивидом как таковые, т.е. субъективная достоверность, причем субъективность

жизненного мира – это «анонимная субъективность». Ее содержание определяется не активностью субъекта, а наличествующими в сфере субъективности феноменами мира, как субъективными, так и интерсубъективными. По отношению к активности субъекта жизненный мир представляет собой «горизонт» всех его целей, проектов, интересов независимо от их временных, пространственных, ценностных и прочих масштабов [3]. Согласно Гуссерлю, мы выступаем одновременно субъектами, конституирующими мир в сознании, и объектами жизненного мира среди других его объектов.

Жизненный мир вместе с тем, что уже было отмечено выше, все же не является безраздельно моим собственным. Жизненный мир становится некоторым образом двойственным – это тот мир, который я разделяю вместе с Другими. С одной стороны, он не принадлежит мне целиком, с другой стороны, мне принадлежит часть жизненного мира других людей. Однако, что весьма важно отметить, свои собственные переживания воспринимаются в пределах жизненного мира как конституированное прошлое, действия же других людей – как текущее переживаемое настоящее, по отношению к каковому мое прошлое выступает как уже данное установление, подлежащее наряду с актуально воспринимаемыми действиями Других истолкованию и переистолкованию.

Проблематика, связанная с учением о жизненном мире, наиболее отчетливо представлена в последнем произведении Гуссерля «Кризис европейских наук» [1], однако философ не успел разработать эту тему в полном и систематическом виде, оставив лишь общий набросок науки о жизненном мире, что привело к значительным расхождениям в интерпретации этого понятия у последователей Гуссерля и исследователей его философии.

Но сближение категории «жизненного мира» Гуссерля с «миром повседневности» – интерпретация, начало которой положено уже самим Гуссерлем. С тех пор повседневность понимается как динамичный жизненный мир человека, который конструируется и воссоздается каждой индивидуальной личностью. Воспроизводство жизненного мира осуществляется через взаимодействие процессов «оповседневнивания» и «преодоления повседневности». Сторонники этой концепции дают следующее определение понятия повседневности: «Повседневная жизнь представляет собой реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного мира... Рядовые члены общества в их субъективно осмысленном поведении не только считают мир повседневной жизни само собой разумеющейся реальностью. Это мир, создающий в их мыслях и действиях, который переживается ими в качестве реальности. Поэтому... мы должны прояснить основания знания обыденной жизни... с помощью которых конституируется интерсубъективный повседневный мир» [4, с. 40]. Повседневность – это будни, чередование времени суток, смена привычных видов занятий, встреча с кругом узнаваемых людей и множеством других явлений и процессов, которые являют собой все виды социальных отношений и составляют содержание того, что называется жизненным миром человека.

Весьма важным методическим положением гуссерлианцев стало внимание к конкретным уникальным условиям, в которых протекает акт сознания и, соответственно, каждый акт воли, а также условия и знания на основании внутренних условий сознания.

Основными методологическими посылками послегуссерлевской феноменологии можно считать следующие: во-первых, наличие жизненного мира, естественного основания всякого знания; во-вторых, предмет изыскания должен соотноситься и конструироваться на основе сферы феноменов-значений и актов сознания, без намека на абсолютное или вещественное окружение. Сознание всегда интенционально. Предмет опыта как представление неизбежно оказывается предметом внутреннего опыта и, таким образом, может быть конструктором самого сознания. В-третьих, как следствие всего сказанного выше, внимание должно быть обращено на индивидуальное в сознании, на внутреннюю субъективность изучаемого феномена; анализ интерсубъективности также может быть возведен к комплексу феноменологии. Внимание не к чему-то вообще, но постоянно конструирующемуся. И в-четвертых, неизбежное и постоянное внимание к сфере собственного сознания, отслеживание метода. В приложении же к социуму и культуре наиболее существенными оказываются такие проблемы: как люди в социальном, культурном взаимодействии воспринимают, толкуют, перетолковывают и конструируют социальную действительность; зависит ли знание от способности человека воспринимать и интерпретировать окружающий его мир.

На основе аксиомы Гуссерля о том, что предикат реальности не функционирует на дорефлексивном уровне, в социальной феноменологии делается вывод, что степень реальности объекта зависит не от его собственных онтологических характеристик, а от структуры конечной области значений, в которую он включен. Поэтому можно говорить о множественности социальных конечных областей значений («жизненных миров») и их принципиальной несводимости друг к другу. Хотя никакой иерархии конечных областей значений в классической социальной феноменологии не существует, одна область наделяется особым привилегированным статусом. Этим статусом как раз и обладает повседневность с ее специфическим когнитивным стилем гармонизации содержания, обеспечивающим совместимость всех его элементов и, следовательно, абсолютную реальность данной конечной области значений.

Основателем феноменологической ориентации в методологии социального познания, применившим концепцию Гуссерля к изучению социальной реальности, считается американский философ и социолог А. Шютц.

У Гуссерля Шютц берет только понятие жизненного мира и связывает его с притязаниями понимающей социологии Вебера, описывая «основные структуры... само собой разумеющейся действительности». В отличие от Гуссерля, Шютц понимал жизненный мир как мир непосредственно данного, в котором то, что можно назвать «Я», и Другие непосредственно пересекаются. Понимание, как его определял Шютц, есть интенциональный акт, который направлен на значение Другого и является интерпретацией собственного опыта.

Развиваемая Шютцем социальная феноменология исходит из того, что процесс понимания не ограничивается сферой персонального сознания, а осуществляется в более широкой области жизненного мира – мира естественной установки.

Влияние, оказанное Шютцем на развитие социальных наук, было огромным. Понятие жизненного мира мы можем обнаружить у Хабермаса и многих других теоретиков. Предположения Шютца о конституировании и конструировании мира и о естественной установке на жизненный мир продолжили его ученики Л. Бергер и Т. Лукман, авторы совместного труда «Со-

циальное конструирование реальности» [4]. В нем они указывают, что собираются обратиться «к повседневной реальности, как ее понимают рядовые члены общества», которые воспринимают и переживают этот мир как реальный [4, с. 33].

Понятие жизненного мира широко используется в социологически ориентированных исследованиях повседневности и микросоциологии вообще, благодаря чему с середины XX в. феноменология приобретает статус междисциплинарной гуманитарной методологии. Вместе с тем жизненный мир человека в контексте техногенной цивилизации и постнеклассического типа рациональности получает более глубокое философское понимание. Здесь философия, в свою очередь, ориентируется на междисциплинарные исследования жизненного мира как повседневной реальности и обыденного сознания на стыке социологии, психологии, лингвистики и социальной антропологии. Тем не менее введение и раскрытие понятия о жизненном мире все же является весьма специфическим мыслительным экспериментом, еще не достигшим определенного неоспоримого уровня научного знания.

Список литературы

1. **Husserl, E.** Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie / E. Husserl. – Hamburg, 1977.
2. Современная западная философия : словарь / сост. В. С. Малахов, В. П. Филатов. – М. : Политиздат, 1991.
3. **Ионин, Л. Г.** Социология культуры: путь в новое тысячелетие / Л. Г. Ионин. – М., 2000.
4. **Бергер, П.** Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Н. Лукман. – М., 1995.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье с философско-культурологической точки зрения рассматриваются вопросы диалектики становления и развития европейского образовательного пространства и европейской культурной традиции, что позволяет рассматривать современные интеграционные процессы в европейском высшем образовании, интеграцию российской системы высшего образования в европейское образовательное пространство не только с социально-экономической и социально-политической сторон, но и с социокультурной.

Современные процессы модернизации отечественного высшего образования, переход на двухуровневую систему подготовки «бакалавр–магистр» порождает целый ряд проблем, которые могут быть решены только при помощи интегральных методов и подходов менеджмента, педагогики, социологии, культурологии, философии и целого ряда других наук. В рамках философско-культурологического анализа современной ситуации большое значение имеет исследование влияния европейской культурной традиции на становление и развитие европейского высшего образования, его интеграцию в единое образовательное пространство.

Европейская культурная традиция – особая общность истоков, судеб и наследия, приведшая к формированию культурно-исторической общности с единым культурно-генетическим кодом, с характерным самоощущением и самосознанием европейцев [1, с. 194]. С диахронической точки зрения социокультурными предпосылками европейской культурной традиции в наиболее общем виде стали традиции античного наследия и христианские ценности, которые в ходе социально-исторического развития интегрировались с культурными особенностями народов средневековой Европы. Если рассматривать более подробно, то ее формированию способствовали четыре фактора: превосходство юридической системы, начало которой дало римское право; социальная солидарность и понимание, основанные на христианском благочестии и гуманизме; демократизм, базирующийся на правах и свободе индивидуума; наконец, универсализм, начало которому положили космополитические принципы Просвещения [2, с. 1]. Моральный универсализм, объединяя либерализм и христианство, сегодня становится главным критерием отношения к новым идеологическим течениям в Европе, одним из которых выступает мультикультурализм [3, с. 11].

В течение длительного времени европейские страны в силу религиозных, языковых, социально-экономических и политических различий были не только разобщены, но часто и явно враждебны друг другу. Идея европейского консенсуса рождалась и расцветала в ходе длительного и сложного развития между странами и народами Европы. Но так или иначе античное наследие, христианство, средневековая культура, идеи Возрождения, Реформации и Просвещения составили мощный фундамент, на котором родились и получили развитие идеи справедливого единого европейского мира, общей ответственности всех народов за судьбу континента, которые сегодня реализуются в рамках европейской интеграции.

Современные исследователи выделяют следующие черты генезиса цивилизации Западной Европы:

- использование опыта демократии античного полиса и развитие норм римского права;
- постоянное развитие экспериментальной науки, внутренне связанной с техникой;
- рациональный способ ведения хозяйства, возникший благодаря отделению рабочей силы от средств производства;
- формирование гражданского общества как основы демократического развития;
- христианская традиция с ее представлениями о человеческой индивидуальности, концепцией морали и пониманием человеческого разума как активного начала;
- активная военная политика по утверждению указанных ценностей внутри данной цивилизации и реализация «западных» интересов вне ее пределов.

Социально-философские предпосылки создания и необходимости существования европейской идеи и европейской культурной традиции нашли отражение во многих трудах, начиная с мыслителей эпохи средневековья до современных теоретиков Европейского союза и Европейского сообщества. Идея духовного объединения Европы на протяжении многих веков появляется у таких разных представителей социально-гуманитарного знания, как Данте, П. Дюбуа, герцог де Соли, Г. Гроций, Я. А. Коменский, И. Кант и многие другие. Большое значение для формирования как идеи европейской интеграции, так и общей культурной традиции имели университетские преподаватели и студенты.

Связи европейской культурной традиции и европейского высшего образования диалектичны. С одной стороны, университеты в средневековой Европе возникли в условиях уникальной социокультурной ситуации, которая была обусловлена в первую очередь бурным ростом средневековых городов, потребностями городской экономики, развитием денежной экономики, торговли, совершенствованием сельскохозяйственного производства, ростом благосостояния людей. Все эти факторы способствовали тому, что в средневековом обществе почти во всех его социальных слоях появился интерес к университету.

С другой стороны, возникнув под влиянием общества, университеты, в свою очередь, стали изменять структуру породившего их социума, обогащая и усложняя ее, влияя на развитие европейской науки, культуры и образования в целом. Несмотря на то что первые университеты воспринимались современниками как светские монастыри, оторванные от реальной жизни, *alma mater* во все времена принимала активное участие в общественной жизни. Чаще всего первые университеты порождали вольнодумцев и возмутителей спокойствия, что было связано с их функциональными особенностями: в их стенах пересекались интересы самих интеллектуалов, императорской и папской власти, стремительно развивающихся городов, поэтому университеты часто выступали самостоятельными институтами средневековой культуры, не отказываясь и от тех привилегий, которые получали от светской и церковной властей. Постепенно в первых университетах сложилось особенное космополитическое сообщество, которое посредством своего образа жизни, ин-

тернациональных социокультурных взаимодействий способствовало дальнейшему развитию единой культурной традиции Европы. Первый этап развития университета связан с широкой автономией, независимостью, интернационализацией, прогрессом, наслаждением веком «золотой изоляции», несмотря на схоластику, господствовавшую в университетском знании до XIV–XV вв. Формирование и функционирование первых университетов помогало преодолеть узкие пределы национально-традиционных практик, соединить в едином космополитическом пространстве религию, науку, искусство, транслировать знания и культуру новым поколениям.

Очаги распространения свободомыслия и еретических идей, городской культуры и бюргерской оппозиции феодализму, университеты пользовались церковными бенефициями, освобождением от налогов, несения сторожевой службы и многими другими привилегиями, которые способствовали формированию таких европейских ценностей, как рациональность, индивидуализм, светская духовность, демократия и гражданское общество.

Первое право, полученное университетом, – «академическая свобода», которая первоначально понималась как неподсудность его членов другим органам, кроме собственного суда. Университеты, возникшие в условиях средневекового корпоративного строя, представляли корпорации, включавшие как магистров, так и учащихся (отсюда и их первоначальное название – *universitas magistrorum et scholarium* – корпорация учителей и учеников). Как любая средневековая корпорация, университет боролся за укрепление своего правового статуса. Первые университеты обладали административной автономией, своей юрисдикцией, имели свои уставы. Несмотря на различные степени самоуправления в университетах, все они первоначально возникали самостоятельно, без вмешательства церковных и светских властей, на равных выступали во взаимоотношениях с городом. Известный факт развития Оксфорда, когда в результате конфликта университета с городскими жителями часть студентов и преподавателей переселились в Кембридж, образовав там новую *alma mater*.

Важным правом средневековых университетов стало беспрепятственное передвижение их членов по территории Европы (*peregrinatio academica*). Первый этап развития университетов – средневековый, схоластический, этап теоцентрической образовательной модели, доклассический, космополитический [4, с. 158; 5, с. 155] – носил ярко выраженный наднациональный характер. Болонский университет, возникший в 1158 г. на фундаменте Болонской школы права, представлял собой корпорацию наций – представителей разных провинций. Уникальное «академическое пространство» не знало границ отдельных стран, было свободно от местных законов, обладало высокой степенью мобильности. Университеты способствовали интернациональному культурному общению, затрудненному всем экономическим и политическим строем жизни средневековья. Благодаря использованию латыни как языка международного и междисциплинарного общения, автономии по отношению к государственной власти, в поиске общих оснований академического этоса, общих правил организации и университетского пилигримажа, сеть европейских университетов представляла собой проницаемую единую образовательную среду [4, 6, 7].

Ученая степень, полученная в одном университете, давала право преподавания в любом университете своей или другой страны (право *ubique do*

sendi). Уже в первых университетах была сформирована предметная база преподавания, ведущие формы организации университетской жизни. Общность университетского образовательного пространства в средневековой Европе обеспечивали общее семантическое поле, набор изучаемых предметов, схоластический дискурс. Университеты, несмотря на их значительную зависимость от католической церкви (долгое время члены университетского сообщества даже именовались клириками, т.е. теми, кто входит в церковную организацию), способствовали развитию европейской культуры, науки, начальных форм светского знания. Средневековые университеты стали прообразами современных классических университетов, опирающихся на многовековые традиции. Благодаря университетскому образованию, интеллектуальной осью всей средневековой культуры стал рацотеологический дискурс.

Большое значение университетов в средневековой культуре в определенной степени способствовало нарастанию кризисных элементов в их стенах в условиях изменения социокультурной ситуации, появления новых элементов в социально-экономической, политической и духовной сферах общества. Поиски выхода из университетского кризиса в условиях перехода от традиционной культуры к индустриальной привели к значительному уменьшению влияния традиций интернационализации и способствовали становлению национальных моделей университетского образования, каждая из которых стала важным элементом национальной культуры.

С открытием в 1810 г. Берлинского университета возникает «идеальная модель» университетского образования, которую связывают с реформаторской деятельностью Вильгельма фон Гумбольдта. В основе новой модели университета лежала его зависимость от общества и культуры, которые определяли форму, задачи, функции университета, предъявляя к нему определенные требования. Три принципа определили культуру нового университета. Первый состоял в отрицании примитивного утилитарного взгляда на образование, когда знания ценятся лишь с практической точки зрения. Второй – предостерегал от засилья опытной (эмпирической) науки, которое противодействовало фундаментальному теоретическому познанию. Наконец третий и главный принцип утверждал господство гуманитарного образования, без которого не может быть образованной личности [8, с. 52].

Основу гумбольдтской модели университета составили идеи немецкой классической философии Канта, Фихте, Шлейермахера и многих других. Новая модель университета возникла вместе с подъемом национальных стремлений и повышением значения государства в XIX в. Между властью и знанием сложилась договоренность. С одной стороны, со стороны ученых, желание иметь разрешенные государством беспрецедентные институциональные возможности, с другой – со стороны государства – требование к университетам поддерживать национальную культуру и помогать в формировании национальных символов, граждан своего государства. В Германии сложилась двусторонние связи государства и университетского образования. Если государство выступало гарантом независимости университетов от частного капитала, гарантом свободы, то университеты обеспечивали идеологию и этос государственной власти, формировали корпус подготовленных государственных чиновников.

Группа исследователей университетского образования во главе с В. А. Садовничим, рассматривая национальные модели университетского образова-

ния, назвала немецкую модель университета гумбольдтским исследовательским университетом [9, с. 128–129]. И сегодня в немецких университетах научная и учебная деятельность рассматриваются как взаимодополняющие компоненты. Студенты приобретают опыт в процессе непрерывного поиска новых научных знаний, в общении с передовой наукой, чтобы в свое время стать крупными учеными-первооткрывателями в своих областях. Результаты исследовательской работы преподавателей немедленно превращаются в основу учебного материала. Преподаватели и студенты взаимодействуют в процессе университетского образования как соисследователи.

Влияние государства ощущается и во французской системе университетского образования. Здесь, как, впрочем, и в Германии, Италии, России, образование является функцией правительства. Образовательная система создана и контролируется правительством для поддержания своей структуры и функций. Главная функция образования – поддержание национальной культуры и развитие национального идеала [10, с. 148]. К концу XVIII в. Французская революция, упразднив университеты как оплот монархизма, способствовала созданию прообраза современного «неуниверситетского сектора», основанного на двух «антиуниверситетских принципах» – расчленении учебных заведений на ряд «факультетов» и школ и всеобъемлющем бюрократическом контроле. Новая французская система за короткое время доказала свою эффективность посредством открытия новых центров профессионального образования в различных научных и прикладных отраслях (были открыты Политехническая школа, Школа восточных языков, Центральная школа общественных работ, Школа дорог и мостов и др. [4, с. 163]). Система высших профессиональных школ оказалась более приспособленной к национальной французской культуре, поэтому современная французская модель «больших школ» нацелена на формирование утилитарных профессиональных качеств, часто квалифицируется как профессиональная, обучающаяся. Она стала символом управляемого государством меритократического общества, где высокообразованные профессиональные кадры считаются суперэлитой.

В университетах Великобритании, в отличие от университетов континентальной Европы, сложилась более либеральная модель образования, направленная на достижение индивидуальных стандартов культуры, интеллектуальных способностей. Здесь наблюдается усиленное внимание к развитию личности обучающегося, его индивидуальных способностей. Поэтому британская модель интернатного типа (модель Оксбриджа) основана на тесном неформальном общении студентов с преподавателем. При всем уважении к исследовательской или профессиональной подготовке, формирование качеств характера (воспитание джентльмена) признается более значимой задачей. Британская модель полностью зависит от традиций старейших европейских университетов – Оксфорда и Кембриджа, которые на протяжении многих веков играли господствующую роль в системе образования Англии. Как говорил известный английский поэт и критик М. Арнольд, для того чтобы участвовать в английской национальной жизни, нужно одно из двух: либо быть служителем англиканской церкви, либо быть выпускником Оксфорда или Кембриджа [11, с. 47]. Либерализм британской университетской модели распространяется и на взаимоотношения университета с государством, правительство которого имеет малое влияние на образовательную деятельность.

Последнее обстоятельство роднит современную английскую систему высшего образования с американскими традициями.

Представленные европейские модели университетов выступают «идеальными конструкциями», которые редко полностью реализуются на практике. Сами исследователи, которые выделили эти национальные модели, замечают, что «в реальных университетах, как правило, присутствуют в той или иной степени черты всех этих моделей» [9, с. 129], но, несмотря на это, они и в современном высшем образовании определяют основные черты национальных систем высшего образования в европейском образовательном пространстве.

Современное стремление к интернационализации высшего образования в Европе вызвано не только процессами глобализации второй половины XX в., но и европейскими интеграционными процессами, которые в большой степени основаны на возрождении интереса к европейской идее, европейской культурной традиции.

Процессы европейской интеграции последних десятилетий – это, в том числе, и стремление сохранить европейскую культуру в современных условиях глобализации и американизации. Западноевропейские страны не стремятся заимствовать американские ценности высшего образования как и ценности американской культуры в целом. Однако они признают, что вторая половина XX в. сделала реальным присутствием американцев в Европе. С американским влиянием связывают развитие современной культуры и техники, философии современности и одновременно политический декаданс и культурный упадок [12]. Сегодня европейцы, прежде всего французы, укрепились в уверенности, что Европа может быть современной, оставаясь при этом Европой. Европейские ценности и их проявления могут не только выстоять, но и победить в конкурентной борьбе с американскими ценностями и американской практикой, предложив миру более высокие стандарты в образовании и дизайне, качестве жизни, развитии общественного транспорта и бережном отношении к окружающей среде [3, с. 279].

Европейцы представляют яркий пример культурного релятивизма в современном мире. Необходимость понимания других культур, в частности американской, сегодня занимает одно из ведущих направлений европейского сознания. Так, Грет Халлер считает, что американцы и европейцы по-разному интерпретируют понятия свободы, права, морали, религии, национального интереса. Поэтому европейцам необходимо учиться понимать Америку [12]. С другой стороны, стремление Западной Европы создать противовес доминированию Соединенных Штатов в многополюсном мире сказывается и на тенденциях развития европейской высшей школы.

История развития европейского образования свидетельствует о том, что сегодня в Европе уместно говорить не столько об интернационализации высшего образования, сколько о реинтернационализации, о возвращении к традициям средневековой европейской культуры и культуры XVII века [13]. Единое культурное пространство Европы сформировалось в средневековье во многом благодаря высшему университетскому образованию. Национальные государства получили власть над системой высшего образования только в условиях культуры общества модерна, но и тогда для академического сообщества в большей степени, чем для других профессиональных групп, было характерно стремление к интернационализации. Поэтому, несмотря на формирование в XIX–XX вв. национальных моделей образования, национальных

структур организации образовательного процесса, ограниченный характер международных связей между высшими учебными заведениями, универсальный, интернациональный характер познания и развития высшего образования сохранялся как элемент европейской культуры.

Подтверждением реинтернационализации служит и существующая бинарность в научной литературе и социально-политической публицистике в определении понятия «Европейское сообщество». Согласно одному подходу, европейское сообщество означает исторически сложившееся и осуществляющееся на практике взаимодействие стран региона на традиционной и естественно складывающейся основе. Другое понятие термина «Европейское сообщество» означает строгую договорную систему, в которую входят определенные страны, деятельность которой детально регламентирована подписанными этими странами договорами при помощи созданных на их основе специализированных региональных управляющих органов [14, с. 19]. В первом случае интеграция европейских систем образования происходит на основе сложившейся европейской культурной традиции, во втором – в результате целенаправленной образовательной политики стран-членов ЕС.

Современный интеграционный европейских процесс, пройдя последовательно такие стадии, как общий рынок, валютно-экономический союз, политическую интеграцию, вплотную приблизился к возможности достижения нового качества в условиях интеграции культуры, образования и исследований. Сегодня подчеркивается, что для достижения целей интеграции и развития единой Европы не подходит «метод плавильного котла», который уничтожит национальное культурное своеобразие как крупных европейских стран, так и совсем маленьких государств. К тому же современная Европа не просто мультикультурная и мультиэтничная. Она становится домом для многих миллионов неевропейцев, и ее культура должна быть основана на принципах гостеприимности и взаимности как основаниях идентификации и принадлежности. Мультикультурализм воспринимается как данность и преимущество и для национальных государств, и для Евросоюза в целом.

Возникает вопрос соединения интеграции, которая представляет для большинства европейских стран абсолютную необходимость, с огромным разнообразием национальных систем, норм, символики, содержания, особенно в области культуры и образования. Европа не должна быть только общим рыночным пространством или «большой фабрикой», управляемой транснациональными корпорациями. Необходимо создание открытого гражданского общества, основными чертами которого являются плюрализм, терпимость, толерантность, культура диалога [14, с. 20–21].

Одним из институциональных проявлений такого общества становится современное европейское образовательное пространство, развитие которого де-юре связывают с Сорбоннской и Болонской декларациями. В них была подчеркнута необходимость создания в мире, особенно в Европе, не только общей валютной, банковской и экономической систем, но и единого массива знаний, опирающегося на надежную интеллектуальную, культурную, социальную и техническую основу. Ведущей идеей Болонского процесса стало создание в Европе открытой системы высшего образования, которая смогла бы, с одной стороны, вдумчиво сохранять и беречь культурное разнообразие отдельных стран, а с другой – способствовать созданию единого пространства преподавания и обучения. В последнем студенты и преподаватели распо-

лагали бы возможностью неограниченного передвижения и сложились бы все условия для более тесного международного сотрудничества.

Болонская декларация знаменует значительный шаг вперед в современной европейской культуре. Она сделала акцент на развитие новых механизмов сотрудничества (двухцикловая система обучения и общая система кредитов), совместимость процедур оценки качества, формирование общего европейского ядра для академических программ, определила программу действий, нацеленную на создание объединенного пространства высшего образования Европы к 2010 г., чтобы способствовать трудоустройству и мобильности, увеличению конкурентоспособности и привлекательности европейского высшего образования. Новации, которые несет Болонский процесс, решают задачи обеспечения уровня культуры и привлекательности образовательного пространства, соответствующего культурным и научным традициям всего континента, а не отдельных стран.

Интеграция российской системы образования в европейское и мировое образовательное пространство становится продолжением отечественных реформ системы образования, процесса модернизации. Но, как и сама модернизация, членство в Болонском процессе вызывает множество вопросов, ответ на которые часто приводит их авторов к выводам о возможных потерях российской системы образования своих национальных традиций.

Рассматривая единое образовательное пространство как часть европейской культурной традиции, необходимо заметить, что, несмотря на множество споров о европейской принадлежности России, в нашей культуре есть целый ряд традиций, которые объединяют ее с европейской. Это и ценности христианства, и городской характер культуры, и военно-демократический характер генезиса государственной власти. По географическому и целому ряду других признаков Россия является европейской страной, которая к началу XVIII в. в силу ряда субъективных и объективных причин отстала от других стран континента в социально-экономическом и политическом отношении, в том числе и в сфере образования. Интенсивное, довольно успешное развитие российского высшего образования в последние двести пятьдесят лет позволило исследователям системы образования говорить о его национальных особенностях, которые неразрывно связаны с русской национальной культурой, духовностью, социальными особенностями русского национального характера и могут быть утеряны в процессе интеграции отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство. Диахронический анализ развития российской системы высшего образования свидетельствует о тесных прямых (в дореволюционный период развития) и опосредованных (в советский период) связях отечественной высшей школы с европейскими университетами, в большей степени с немецкой образовательной культурной традицией, которая оказала существенное влияние как на структуру развития отечественных высших учебных заведений, так и на формирование принципов российской образовательной политики. Поэтому отечественное высшее образование можно рассматривать как еще одну черту, которая объединяет русскую культуру с европейской культурной традицией.

Российские университеты изначально были адаптированы к взаимодействию со своими западноевропейскими собратьями. До первой четверти XIX в. их преподавательские коллегии в значительной степени состояли из профессоров-иностранцев, за неимением собственных. Сама сеть университетов

своей конфигурацией была сориентирована к западным пределам империи. Через университетские города пролегали российско-западноевропейские научные и культурные коммуникации.

Первую традицию интернационализации российского образования заложили в 1736 г., когда стипендиаты императорской Академии наук и художеств М. В. Ломоносов, В. В. Виноградов, Г. У. Рейзер были направлены в Марбургский университет для получения высшего естественно-научного образования. Этим было сформировано «российское студенческое зарубежье», особая социальная общность со своими исторически сложившимися традициями жизни в инонациональных условиях. Студенческое зарубежье развивалось не только в XVIII и первой половине XIX вв., когда это диктовалось объективными причинами формирования системы высшего образования, но и во второй половине XIX и в начале XX вв. Среди факторов, определивших такое «долгожительство» российского студенческого зарубежья, А. Е. Иванов выделяет следующие [15, с. 342–349]:

– отсутствие у значительной части выпускников российской средней школы свободного выбора будущей специальности при поступлении в высшую школу. Выпускники реальных, коммерческих, технических и сельскохозяйственных училищ лишены были права поступать во все без исключения высшие учебные заведения и без экзаменов в университеты. Таким правом обладали лишь выпускники гимназий;

– недостаточное развитие государственной системы высшего образования, которая не могла вместить всех жаждавших стать студентами, хотя Россия остро нуждалась в специалистах высшей квалификации;

– невозможность российской высшей народнохозяйственной школы предоставить абитуриентам того изобилия необходимых российской экономике специализаций, которые предлагались западноевропейскими высшими учебными заведениями. В России не привились так называемые смешанные университеты, в которых традиционные факультеты (историко-филологический, естественный, юридический, медицинский) соседствовали бы с народнохозяйственными, тогда как в Германии были агрономические и лесные, в Великобритании – инженерные, Франции – агрономические и инженерные факультеты. Американские университеты конца XIX в. насчитывали до 12–14 факультетов;

– наличие «еврейского» и «польского» вопросов в правительственной национальной политике в сфере высшего образования, которые препятствовали молодым людям этих национальностей получать высшее образование в российских учебных заведениях и способствовали их выезду за границу, где они воспринимались «русскими», невзирая на их национальную пестроту;

– стремление учиться за границей тех, кто руководствовался исключительно влечением к какой-либо специальности или чисто научным побуждениями;

– высылка или выезд за границу тех, кто оказывался в конфликте с имперским правопорядком или просто был нетерпим к политической системе самодержавия;

– стремление выехать за границу тех, кто искал необходимого академического комфорта, поскольку непрерывные с конца XIX в. студенческие беспорядки в отечественной высшей школе мешали главному студенческому занятию – учебе.

«Русское зарубежье» не только развивало интернациональные традиции, но и способствовало формированию высшего образования как национального явления России. Еще в начале XIX в. дерптский профессор Паррот писал Александру I о необходимости сделать образование в России врожденным, в чем должны заложить первое основание иностранцы. По его же проекту во время царствования Николая I на рубеже 1820–1830-х гг. были осуществлены массовые стажировки будущих университетских профессоров за границей. Это способствовало формированию нового поколения отечественных ученых, приобщившихся к идеям классического университета, которые и заложили основу национального характера российского высшего образования, создали первые российские научные школы, возвысили научную деятельность в университете до ранга общественного явления [5, с. 113].

К середине XIX в. в России существовала национальная модель высшего образования, которая адаптировала многие заимствованные немецкие, французские, английские элементы образования к российской культурной, политической, социальной традиции. Российские университеты не были похожи на французские, несмотря на общие тенденции централизации, определяющие их социокультурное и политическое развитие. Одновременно они не были похожи и на немецкие, хотя заимствовали многие структурные черты именно немецкого университетского образования и еще долгое время ориентировались на него. В российских университетах не было полной свободы, стремления преобладать над прикладным и утилитарным, что так отличало немецкие университеты.

Поэтому российские университеты отличались от западных не только по времени возникновения. Если европейские университеты были автономными учреждениями, где развивалась свободная академическая мысль, то в России сложилась другая ситуация. В отличие от западноевропейской культуры, где профессиональная школа развивалась на базе университетского образования, российские университеты формировались на основе профессиональной школы.

В то же время, несмотря на многие отличия российской высшей школы от западноевропейских тенденций развития высшего образования, она была во многом близка всему европейскому образовательному пространству и европейским культурным традициям. Даже после формирования национальной модели университета, «российское студенческое зарубежье» не было единственным элементом интернациональных тенденций в высшем образовании. Российскую высшую школу с западными университетами связывали многочисленные нити сотрудничества: систематические научные командировки профессоров и преподавателей, стажировки соискателей ученых степеней, участие в международных съездах и конгрессах, взаимные публикации научных трудов, книгообмен, приобретение лабораторного оборудования, реактивов и многое другое. Совершенно противоположные тенденции сложились после революции 1917 г., которая способствовала формированию советской традиции в высшем образовании, более закрытой, жестко централизованной, ориентированной на локальные ценности советского общества, а не на развитие космополитического интернационального образования.

Холодная война и железный занавес сказались и на отношениях советской и западной систем высшего образования. Тенденции интернационализации сохранялись только в отношении высшего образования социалистиче-

ских и развивающихся стран, для которых Советский Союз выступал одним из признанных центров международного образования. Несмотря на то что советский рынок образовательных услуг ориентировался в основном на развивающиеся страны и страны Восточной Европы, уровень подготовки по многим дисциплинам (особенно по математическим и естественно-научным) считался одним из самых высоких в мире [16].

Развитие отечественной системы высшего образования в последние десятилетия осуществляется по пути модернизации, и модернизации, прежде всего, западного образца. Примером этого служит подписание в 2003 г. Болонской декларации и введение двухуровневой системы подготовки «бакалавр–магистр». Полноценно в Болонском процессе сегодня участвуют многие вузы Москвы (Московский государственный институт международных отношений (университет), Государственный университет – Высшая школа экономики, Московский государственный университет, Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права и др.), Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и др.), Самары (Самарский государственный университет), Екатеринбурга (Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный педагогический университет), многих других городов. Во всех высших учебных заведениях России сегодня введены многие элементы Болонского процесса: двухуровневая система академических степеней, что способствует привлечению иностранных студентов в российские вузы, особенно из стран СНГ; национальная система аккредитации образовательных учреждений, которая поддерживает качество образования во всех типах высших учебных заведений; система ECTS и т.д.

Несмотря на многие трудности, которые придется преодолеть российским вузам, вступление России в Болонский процесс – социально-культурная реалья сегодняшнего дня. Это важнейшее условие международного сотрудничества во всех других сферах их деятельности, которые расширяются с каждым годом.

Учебно-методический и научно-технический потенциал вузов реализуется на международном рынке как участие в выполнении учебных и научных программ, преимущественно Европейского сообщества, научно-технических контрактов для зарубежных фирм и университетов, в научно-технических программах Международного научно-технического центра. Сюда можно отнести совместную проектную деятельность, обучение иностранных граждан, обмен студентами, аспирантами, учеными и преподавателями с зарубежными университетами и фирмами, участие российских вузов в работе международных ассоциаций университетов и т.п. В последнее время активизировались процессы академической мобильности, сложного и многопланового процесса интеллектуального движения, обмена научным и культурным потенциалом, ресурсами, технологиями обучения. Российские университеты в последние два десятилетия стали активными участниками европейских образовательных программ, по которым не только русские студенты и преподаватели обучаются и проходят стажировку за рубежом, но и много иностранных студентов приезжает в отечественные вузы, способствуя тем самым нарастанию процессов «интернационализации дома».

Одной из задач, которые требуют первоочередного решения, становится задача восстановления имиджа российских вузов на мировом рынке образовательных услуг. Определенное ухудшение международного имиджа российской высшей школы (прежде всего в странах дальнего зарубежья) и сокращение ее доли на международном рынке образовательных услуг требуют разработки новой стратегии в этой сфере. Включение России в Болонский процесс позволяет не только восстановить международный имидж российского высшего образования, но и приблизиться к европейской модели образовательной политики, которая ориентирована не только на рыночные отношения в образовании, но и на сохранение культуротворческой функции современных университетов.

Болонский процесс не только в современной России, но и во многих странах воспринимается неоднозначно. На наш взгляд, если мы будем рассматривать его как продолжение европейской культурной традиции, а не следствием социально-экономической интеграции, процесс создания и развития европейского образовательного пространства будет восприниматься более лояльно. Даже ратифицировав положения Болонской декларации, Россия в таком случае должна исходить из своих национальных интересов развития высшего образования: одновременного повышения международного престижа отечественной высшей школы и сохранения лучших традиционных черт российской системы образования. Аналогичный пример демонстрируют многие европейские страны, где процесс осуществляется так, чтобы всемерно защищать и поощрять национальное культурное и образовательное разнообразие и идею качественной определенности европейского высшего образования в целом, противостояние растущему американскому влиянию на существующую европейскую культурную традицию в образовании.

Список литературы

1. **Наринский, М. М.** Европейская культурная традиция / М. М. Наринский, В. М. Карев // Культурология. XX век : энциклопедия : в 2-х т. – СПб., 1998. – Т. 2. – С. 194–199.
2. **Amin, A.** Multi-ethnicity and the Idea of Europe / A. Amin // Theory, Culture & Society. – 2004. – Vol. 21. – № 2. – P. 1–24.
3. **Зидентоп, Л.** Демократизация в Европе / Л. Зидентоп ; под ред. В. Л. Иноземцева ; пер. с англ. – М. : Логос, 2004. – 360 с.
4. **Андреев, А.** «Национальная модель» университетского образования: возникновение и развитие / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2005. – № 1. – С. 156–169.
5. **Запесоцкий, А. С.** Образование: Философия, культурология, политика / А. С. Запесоцкий. – М. : Наука, 2003. – 456 с.
6. **Андреев, А.** «Национальная модель» университетского образования: возникновение и развитие / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – Ч. 2. – С. 110–119.
7. **Нечаев, В. Я.** Параметры глобализации и факторы Болонского процесса / В. Я. Нечаев // Вестник Московского университета. – 2004. – № 4. – С. 27–35. – (Серия 18).
8. **Захаров, И. В.** Миссия университета в европейской культуре / И. В. Захаров, Е. С. Ляховиц. – М. : Новое тысячелетие, 1994. – 240 с.
9. **Садовничий, В. А.** Университетское образование: приглашение к размышлению / В. А. Садовничий, В. В. Белокуров, В. Г. Сушко [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 352 с.

10. **Сапрыкин, Д.** Государство и фундаментальное образование: национальные модели / Д. Сапрыкин // Высшее образование в России. – 2005. – № 1. – С. 148–155.
11. **Шестаков, В. П.** Интеллектуальная история Кембриджа / В. П. Шестаков. – М. : М-во культуры РФ ; Рос. ин-т культурологии, 2004. – 204 с.
12. **Haller, G.** Die Grenzen der Solidarität: Europa und die USA im Umgang mit Staat, Nation und Religion / Gret Haller. – Berlin, 2002.
13. **Teichler, U.** The Role of the European Union in the Internationalization of Higher Education / U. Teichler // The Globalization of Higher Education. – Buckingham : Open University Press and SRHE, 1998. – P. 88–99.
14. **Култыгин, В. П.** Глобализация социальных процессов в Европе. Социологическое измерение / В. П. Култыгин, Д. С. Клементьев. – М. : МАКС-Пресс, 2003. – 180 с.
15. **Иванов, А. Е.** Студенчество России конца XIX – начала XX века. Социально-историческая судьба / А. Е. Иванов. – М. : РОССПЭН, 1999. – 414 с.
16. **Шереги, Ф. Э.** Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов: социологический анализ / Ф. Э. Шереги, Н. М. Дмитриев, А. Л. Арефьев. – М. : Центр социального прогнозирования, 2002. – 552 с.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА-ПРОЦЕСС

В современном обществе вслед за изменением условий социализации и форм социального поведения личности должны изменяться и методы научного познания данного феномена. В статье представлены результаты исследования феномена социализации личности с позиций синергетической методологии, позволяющие представить социализацию как синергетическую систему-процесс, что дает возможность развития и расширения категориального аппарата философской теории социализации.

Постулирование социализации методами синергетики предполагает осмысление ее двойственности: социализация есть формирование предпосылок включения человека в круг межсубъектных отношений и одновременно условий выключения человеком себя из этого круга. В первом случае имеет место аккультурация, во втором – индивидуация, функционирующие в режиме синергии и оппонентности.

Эволюция социализации содержит в себе как детерминистические, так и стохастические элементы, представляя собой сопряжение необходимости и случайности (социальной связности и индивидуальной свободы). В повседневной жизни каждого человека происходит как бы «стягивание» общественных связей и отношений в единый «узел» бытия индивида.

Существо подключения индивида к общечеловеческому богатству деятельности и знания, встраивания в систему социальных взаимодействий весьма условно и схематично, однако достаточно адекватно описывается языком фракталов. Учение о фракталах является важным разделом синергетики. Отечественные синергетики пишут, что не только наука, но и культура в целом тоже описывает фрактальные узоры. «Каждая ее часть, каждое ее событие репрезентирует целое» [1, с. 45]. Фрактальные воззрения облегчают познание мира, потому что фракталы позволяют компактно сжимать информацию, более эффективно составлять прогнозы, описывать самоорганизующиеся процессы.

Фрактал (от лат. *fractus* – дробный, ломаный) означает переходное, квазиустойчивое состояние становящейся системы, характеризующееся хаотичностью, нестабильностью, которое постепенно эволюционирует к устойчивому, упорядоченному целому. Понятие введено в 1975 г. математиком Б. Мандельбротом для обозначения множества с дробной размерностью. Позже математическое понятие фрактала распространилось на объекты природы, общества, гуманитарной сферы. Фракталами обозначают явления масштабной инвариантности, когда последующие формы самоорганизации материальных и социальных систем напоминают по своему строению предыдущие. Важнейшее свойство фрактала – самоподобие. Любая, самая малая его часть подобна целому фракталу и любой другой его части.

Из этого следует, что «фрактал является главной стадией эволюционирующей системы, поскольку сам процесс эволюции системы (физической, биологической, социальной) есть дробное, самоподобное, переходное состояние-процесс» [2, с. 148]. Фрактал – не мгновенная, а динамическая, рас-

тянутая во времени бифуркация, выражающая идею переходных состояний. Поэтому социальная фрактальность позволяет представить процесс социализации как постоянное достраивание индивидом самого себя, формирование своих возможностей, которые образуются в результате соотнесенности, взаимодействия, синергизма индивида и социума. Индивид обнаруживает и определяет себя через освоение социальной предметности, он приходит к пониманию себя как предметного средоточия собственных сил, как способности выстраивать процесс своего собственного бытия.

В этом смысле социализация связана с культивированием человеческих возможностей – в осознании старых и поиске и организации новых. Фрактальное движение обеспечивает переходы от одной возможности к другой, их комбинации. Такое движение всегда открыто новым образам культурной и социальной реальности, новым смыслам и значениям. В результате фрактального движения вырастают личностные структуры. Важно, что эти структуры вырастают не по какому-то внешнему жестко заданному образцу, а достраиваются в процессе и в результате фрактального движения.

Фрактальное движение в процессе социализации – это цепь самоподдерживающихся изменений, самоорганизующихся вокруг самодостраиваемого внутреннего образца. Это самодостраивание у отдельного человека может синхронизироваться (отождествиться) с уже существующими, сформированными социальными практиками, уже имеющими институционный статус, а может и образовывать новые практики, может быть творческим движением по становящимся, незавершенным, формирующимся возможностям.

Своеобразную форму принцип фрактальности приобретает при рассмотрении духовности человека как формы интериоризации освоения социального опыта. В духовном мире индивида может идеально ассимилироваться основной опыт человечества или его самая ценная и значительная часть. Отсюда вытекает важная коррекция понимания отношения «человек–общество». Благодаря тому, что в человеке идеально ассимилированы огромные пласты социального опыта, социальной информации, благодаря тому, что этот опыт существует идеально как духовная жизнь самого человека, последний выступает как субъект, в определенном смысле равный обществу, подобный ему, сравнимый с ним по своему потенциалу. В этом смысле мир людей – это множество социальных фракталов (обществ), персонифицированных в каждом человеке.

В то же время человек всегда, помимо и сверх своего актуального бытия, актуальной свершенности, несет в себе огромный потенциал, который связан с миром его духовности. Этот потенциал человека можно охарактеризовать как потенциал культуры социума, ассимилированный человеком и живущий в человеке, потенциал его глубинных возможностей. Фрактальное движение – это то, что соединяет беспредельную потенциальность человека и локальную свершенность; это переходная система-процесс, лежащая между возможным и действительным. Если возможность и действительность – это крайние состояния процесса социализации, то средняя, основная стадия и есть фрактал как переходный, неустойчивый процесс. Наиболее убедительно существует фрактал, в то время как начало (потенциальность) и конец (локальная актуальность) находятся на границах бытия, они или «еще» не фрактальное движение или «уже» не фрактальное движение. Социализация же, будучи фрактальным движением, есть динамичная, переходная система-

процесс, которая обеспечивает воплощение человеческого потенциала в моментах актуальности и формирует человеческую индивидуальность.

Вся сложность, вся неповторимость воздействия общества на человека заключается в том, что, формируя человека, общество создает не только свой образ и подобие, не только субъекта, вмонтированного в мир общественных отношений и служащего ему, но и человека, потенциально этот мир превосходящего, способного от него дистанцироваться и изменять его.

Понять, уловить эту имманентную противоречивость воздействия общества на человека помогают принципы структурно-эволюционных изменений сложноорганизованных систем, касающиеся соотношения устойчивости и неустойчивости (равновесности и неравновесности). Так, синергетика открыла новый класс причинных отношений, когда хаотично организованная среда (система), отвечающая параметрам линейности, сама себе противопоставляет нелинейную упорядоченность, организованную в пространстве и времени. Именно по такому типу и строятся отношения общества и человека. Человек оказывается не только «продуктом» общества, но и его оппонентом. Он несет в себе импульс не только сохранения наличного общества, но и его преобразования. Общество, созидая человека, тем самым созидает свое отрицание. Здесь мы наблюдаем особый вид причинности (циклической), когда следствие противостоит породившей его причине как неупорядоченное бытие упорядоченному бытию.

Специфика соответствующей формы причинности заключается в особом характере отношений между производящей системой и системой, ею произведенной. Синергетика выделяет именно тот класс структурообразующих отношений, где переход от причины к следствию выступает как переход в противоположность. Рождение новой системы выступает как возникновение нелинейности из линейности, необратимости из обратимости, неравновесности из равновесности.

Но там, где имеет место переход в противоположность, причинность подчиняется своим особым законам. Изменение в одном направлении как-то уравнивается изменением в прямо противоположном направлении. Резкое уменьшение порядка симметрии на одной стороне причинного отношения оказывается связанным с увеличением порядка симметрии на другой стороне. Иначе говоря, любое преобразование происходит за счет своей собственной противоположности: ограничение вызывает возрастание, возрастание – ограничение. Отношение причины и следствия выступает как отношение поляризующихся крайностей. Между системой производящей и системой производимой складывается нераздельная взаимная связь (без одного нет другого) и столь же постоянное взаимное исключение.

Кроме того, причина создает условия для перерастания следствием ее самой, что неизбежно ведет к обращению следствия (человека) в исток отрицания причины (общества). В этом, пожалуй, глубинная суть взаимосвязи общества и конкретно-единичного человека.

Синергетика позволяет рассматривать систему социализации как диссипативную. Диссипативная система – концептуальный фундамент синергетики. В отличие от равновесной, диссипативная система может существовать лишь при условии постоянного обмена со средой, в общем случае, веществом, энергией, информацией. Посредством этого обмена она поддерживает свою упорядоченность (говоря физическим языком, низкую энтропию) за

счет усиления беспорядка во внешней среде (сбрасывания избыточной энтропии во внешнюю среду). В диссипативных системах преобладают процессы размывания, рассеивания неоднородностей. Происходит перевод избытков поступлений вещества, энергии, информации в более простые формы (на нижележащие уровни) или вывод их за пределы системы. Диссипация означает, таким образом, переструктурирование чужого в свое и рассеивание лишнего.

Социализация, будучи диссипативной системой-процессом, способна «запоминать» начальные условия своего формирования (традиции), и выбор в точках бифуркации одного из нескольких возможных направлений дальнейшей эволюции детерминирован этими условиями; традиции, структурируясь, задают системе социализации определенный порядок и позволяют противостоять хаотическим, а порой и разрушительным воздействиям окружающей социокультурной среды; в ситуации, когда индивиды принимают и поддерживают тот или иной культурный образец, отчетливо просматривается явление когерентности: они ведут себя как единое целое и структурируются так, как если бы, например, каждая молекула, входящая в макросистему, была «информирована» о состоянии системы в целом, создавая тем самым ресурс репликации данного культурного образца.

Кроме того, адаптация теории диссипативных систем к философским проблемам социализации личности проясняет диалектику объективации и субъективации: связь человека с обществом предстает как противоречивое единство объективации и субъективации, выхода человека во вне своей субъективности и ее сохранения, разрушения человеком своей субъективности и ее восстановления и развития. Противоречивое единство слитности и растворенности человека в обществе и в то же время отстраненности, дистанцированности его от общества составляет основу самоорганизации как системы социализации, так и ее элемента – личности и может быть описано на языке синергетики как чередование процессов зарождения порядка (созидания неоднородностей за счет открытости влияниям извне и активному обмену со средой, локализации структур) и процессов сохранения порядка (размывания структур под влиянием диссипации, сохранения и поддержания сложившихся функций); с одной стороны, человек предстает как непрерывно воплощающий себя и свои силы в разнообразных социальных формах, выходя, таким образом, за пределы своего Я. С другой стороны, он столь же непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, как неповторимый феномен, соединяющий в себе природные, социальные и духовные качества в индивидуальном сочетании.

Если исходить из признания личности самоорганизующейся системой, то необходимыми и достаточными условиями для возникновения процессов самоорганизации полагаются открытость и нелинейность системы. Под открытостью системы понимается наличие в ней источников и стоков обмена веществом, энергией, информацией с окружающей природной и социальной средой.

Самоорганизация и выстраивание структур зависит от взаимного соотношения двух противоположных начал: с одной стороны, начала, создающего структуры, усиливающего неоднородности в сплошной среде (работы источника), с другой стороны, рассеивающего, размывающего эти неоднородности начала (работа стоков).

Действие диссипативного (рассеивающего) фактора применительно к личности может быть выявлено при рассмотрении феномена объективации–субъективации. С одной стороны, человек в ходе общественного развития объективирует себя, непрерывно воплощает себя в общественном мире. Он тем самым как бы выходит за пределы своего собственного человеческого бытия, постоянно выплескивая себя вовне, в общественную жизнь, утрачивая собственную самоидентичность и в определенной степени разрушая себя. Однако непрерывная объективация сущностных сил человека отнюдь не абсолютна. Если бы эта объективация приобрела абсолютный всеохватывающий характер, если бы человеческая жизнедеятельность сводилась к этой объективации и исчерпывалась ею, то это означало бы абсолютное опустошение человека, что реально вело его к саморазрушению.

В конечном итоге это означало бы и прекращение объективации человеческих сущностных сил, а значит и остановку развития общества в целом. Однако этого не происходит, и не происходит потому, что человек в ходе своей общественной жизни не только непрерывно объективирует, но и субъективирует себя. Он не только выходит вовне, за собственные человеческие пределы, но и воспроизводит себя как субъекта, воспроизводит и развивает свою субъективность. Очевидно, что перманентный процесс объективации человеческих сущностных сил (работа источников) оказывается возможным только в таких условиях, когда он сопровождается и опирается на столь же перманентный процесс субъективации человека (работа стоков), который выражается в способности воспринимать многообразие социальных связей, создавать и преобразовывать их, расширяя тем самым границы своей субъективности. Прежде чем отдать, объективировать энергию, информацию, ее необходимо отобрать, изъять из внешнего окружения, перевести и оформить в различные личностные структуры (субъективировать). Источниками обновления личности, ее порядка в процессе субъективации выступают самые разные сферы (детерминанты) бытия личности – от природных до идеологических. «Императив самоизменения, присущий любому синергетическому субъекту, на удивление прост: не будешь тратить, расходовать себя – ничего не приобретешь. Но если потратишь больше того, что приобрел, тебе грозит гибель» [3, 372]. Таким образом, устойчивость возникающих личностных структур и функций обеспечивается балансом нелинейности и диссипации. Слишком сильное нелинейное взаимодействие или слишком сильная диссипация разрушают структуру.

Очевидно, что человек представляет собой типичную диссипативную систему, которая может существовать как физически, так и духовно только при условии постоянного обмена со средой (питание, дыхание, теплообмен, выделение, размножение, познание, производство утилитарных и духовных ценностей, общение и т.п.). Подобный метаболизм приводит к возникновению новых точек роста в структуре личности, усиливает структурную неоднородность, а значит и неустойчивость, ведущую к зарождению нового порядка, который усиливает, развивает субъектность. А сохранить возникший порядок возможно только посредством объективации, посредством воплощения себя в социальной реальности за счет усиления в ней беспорядка (сбрасывания в нее избыточной энтропии). Поэтому социализация как процесс личностного самоопределения и саморазвития есть диалектический процесс разрушения и созидания, утраты и приобретения. Это процесс, который тре-

бует от синергетического субъекта (понятие, введенное в научный оборот В. И. Аршиновым и В. Г. Будановым) сбалансированности актов деструкции и конструкции за счет переключения режимов локализации структур, функций и их сохранения (объективации и субъективации).

Социализация личности как процесс имеет протяженность во времени, непрерывность, преемственность и качественную определенность стадий, когда последующая в «снятом» виде базируется на предыдущей. Она может как закреплять, так и изменять достигнутое. В ходе социализации личность сталкивается с ситуациями, условиями деятельности, порождающими потребность в приспособлении (социальной адаптации).

Здесь необходимо подчеркнуть базисный характер социализации по отношению к адаптации. Социализация – это процесс непрерывный (инкретный), идущий с момента рождения до смерти, а социальная адаптация – процесс прерывистый (дискретный), связанный с новыми обстоятельствами жизнедеятельности человека.

В качестве стадий процесса социализации, имеющих качественную определенность, выделяют первичную и вторичную социализацию. На этапе первичной социализации закладываются основы гомеостаза, конструкты базисного мира, которые в последующем обеспечивают целостность личности. На этом этапе человек еще не может быть активным. Наоборот, активным по отношению к нему является социум (семья как первичный для ребенка социальный институт). На первом этапе социализации велика степень детерминизма и, как следствие, предсказуемости поведения. С того времени как ребенок начинает проявлять социальную активность, происходит постепенное продвижение ко второму этапу социализации, где грань между процессами социализации и социальной адаптации стирается. Все возрастает влияние социальной среды, с которым человек не сталкивался на этапе первичной социализации, увеличивается доля хаоса, количество элементов индетерминизма в канале социализации.

Каждый этаж социальной адаптации предполагает приспособление к конкретным условиям и требует от человека актуализации одной из имеющихся в его базисном мире моделей поведения. Подойдя к очередному этажу социальной адаптации, человек пребывает в определенном качественном стационарном (актуальном) состоянии, которое характеризуется тем или иным набором поведенческих моделей. При этом в пластах человеческого сознания одновременно присутствуют варианты других, новых стационарных состояний (потенциальных). Существование устойчивых соотношений, пусть и не проявленных, недоминирующих, но принципиально возможных для воплощения, – это и есть потенция. Потенциальные стационарные состояния характеризуются возникновением нового качества, не вытекающего с необходимостью из наличных структур и законов развития личности, не являющегося простой перекомбинацией наличных возможностей. В процессе социализации эта потенциальная реальность представляет собой тезаурус личности (субъективная среда), но выбор не сводится к новой комбинации наличных факторов (моделей поведения, способов рефлексии).

Общее направление социализации человека как самоорганизующейся системы задается системообразующим фактором, сущностью которого является самосохранение индивида, поддержание структурной устойчивости, что конкретно проявляется во внутриличностной дифференциации. Диффе-

ренциация приводит к выстраиванию своеобразной иерархии (профиля) жизненных ориентаций, потребностей, ценностей, социальных ролей и статусов. Иерархизация является результатом разрешения противоречий между системообразующим фактором и организацией системы (индивида). Иерархия уровней социализации, которые заданы социумом, коррелирует с иерархическими уровнями структуры личности. Эти уровни находятся по отношению друг к другу в состоянии синергии. В современном российском обществе наблюдается нарушение взаимоподчинения (иерархии) уровней социализации, общей преемственности между ними, конфликт идентичностей и отсутствие синергии между общей иерархией системы социализации и иерархией личностной.

Резюмируя все вышесказанное, еще раз подчеркнем, что дает использование синергетической методологии для выяснения сущности феномена социализации.

1. Онтология социализации носит амбивалентный характер, который состоит в том, что закономерности межсистемных отношений между индивидом и обществом могут быть описаны через отношения синергии и оппонентности. Такой подход утверждает новую, синергетическую, модель социальных отношений «субъект–объект–процесс», помогающую преодолеть абсолютизацию значения одной из сторон (объективной или субъективной).

2. Принципы структурно-эволюционных изменений сложноорганизованных систем, касающиеся соотношения устойчивости и неустойчивости (равновесности и неравновесности), помогают уловить имманентную противоречивость воздействия общества на человека. В этом воздействии проявляется особый вид причинности, когда следствие противостоит породившей его причине как неупорядоченное бытие упорядоченному. Рождение новой системы (личности) выступает как возникновение нелинейности из линейности, неравновесности из равновесности. Глубинная суть взаимосвязи общества и конкретно-единичного человека заключается в том, что причина (общество) создает условия для перерастания следствием ее самой, что неизбежно ведет к обращению личности в исток отрицания общества. Таким образом, человек оказывается не только «продуктом» общества, но и его оппонентом, неся в себе импульс не только сохранения наличного общества, но и его преобразования.

3. Социализация как синергетическая система-процесс представляет собой целостность, единство становления и бытия. Устойчивость возникающих в процессе социализации личностных структур обеспечивается балансом нелинейности (разрушения собственной субъективности) и диссипации (восстановления и сохранения собственной субъективности). Слишком сильное нелинейное взаимодействие или слишком сильная диссипация разрушают структуру. Взаимодополнительность нелинейности и диссипации, становления и бытия позволяет рассмотреть в устойчивых, ставших, обретших завершенность личностных формах эффекты становления, самоорганизации.

4. Социализация, будучи фрактальным движением, демонстрирует свойство масштабной инвариантности. Целое (социум) становится свернутым и распределенным в каждой части (индивиде). Личностные структуры, вырастающие самоподобным способом в результате фрактального движения, инвариантны той культуре, в которой воспитан и обучен человек. Принцип социальной фрактальности позволяет представить социализацию как постоянное достраивание индивидом самого себя, которое может отождествляться

с уже существующими, институционализированными социальными практиками, а может иметь творческий характер и образовывать новые практики. Но в любом случае самодообраивание происходит в результате соотнесенности, взаимодействия, синергизма индивида и социума.

5. Онтологический принцип иерархичности позволяет прояснить диалектику выстраивания иерархии (профиля) жизненных ориентаций, потребностей, ценностных предпочтений, социальных ролей. Действие синергетического принципа подчинения приводит к доминированию одних элементов структуры личности над другими, направляет распределение энергии личности. Иерархию следует рассматривать как результат разрешения противоречия между системообразующим фактором (стремлением к самосохранению) и организацией индивида (между функцией и структурой).

Список литературы

1. **Князева, Е. Н.** Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : Наука, 1994. – 229 с.
2. **Войцехович, В. Э.** Синергетическая концепция фракталов / В. Э. Войцехович // Синергетическая парадигма: человек и общество в условиях нестабильности. – М., 2003. – С. 141–156.
3. **Режабек, Е. Я.** Гетерогенность сознания как «несущая конструкция» рациональности нового типа / Е. Я. Режабек // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М., 2004. – С. 368–378.

УДК 830

Д. Н. Жаткин, Т. Н. Шешнева

А. К. ТОЛСТОЙ КАК ПЕРЕВОДЧИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г. ГЕЙНЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В статье впервые осуществлен целостный анализ переводов произведений выдающегося немецкого поэта Генриха Гейне на русский язык, выполненных в 1850–1860-х гг. А. К. Толстым. Русский переводчик своеобразно трактует гейневскую поэзию, интерпретирует ее с учетом особенностей собственного мировосприятия, оценки процессов и явлений окружающей российской действительности.

Воздействие полных драматизма и грусти произведений Г. Гейне на творчество А. К. Толстого было особенно значительным в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Внутреннему миру Толстого импонировали ирония, сарказм и вместе с тем лиризм страдающего от несовершенства и прозы жизни героя Гейне в сочетании с дерзким вызовом самодовольной пошлости и обличением существующей общественной ситуации. Особый поэтический отклик, своеобразный внутренний резонанс в чуткой душе Толстого вызывали проникнутые народно-мелодической стихией стихотворения Гейне, в которых скептицизм и ноты отчаяния не ослабляли мужественного противостояния судьбе.

Видное место в творчестве А. К. Толстого занимают переводы поэтических произведений Г. Гейне. Всего таких переводов известно шесть: «Безоблачно небо, нет ветру с утра...» (осень 1856 г. <?>) – вольный перевод последней строфы стихотворения «An den Nachtwächter», «У моря сижу на утесе крутом...» (осень 1856 г. <?>) – перевод стихотворения «Es ragt ins Meer der Runenstein...», «Из вод подымая головку...» (осень 1856 г. <?>) – перевод стихотворения «Die schlanke Wasserlilie...», «Ричард Львиное Сердце» (<1868>) – перевод стихотворения «König Richard», «Обнявшись, дружно сидели...» (<1868>) – перевод поэтической зарисовки «Mein Liebchen, wir saßen beisammen...» и «Довольно! Пора мне забыть этот вздор...» (1868) – перевод стихотворения «Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...» из цикла «Возвращение на родину» «Книги песен».

Короткое стихотворение «Безоблачно небо, нет ветру с утра...», состоящее из одного четверостишия со смежной рифмой, представляет собой перевод с элементами свободной вариации последней строфы стихотворения «An den Nachtwächter (Bei späterer Gelegenheit)» («Ночному сторожу (При позднейшем случае)») Г. Гейне из цикла «Современные стихотворения» книги «Новые стихотворения» (1828–1844). Это четверостишие из гейневского произведения было посвящено нерадивым поэтам, не решавшимся открыто высказать свою точку зрения, метафорически подводившую итог всему сказанному: «Du fragst mich, wie es uns hier ergeht? // Hier ist es still, kein Windchen weht, // Die Wetterfahnen sind sehr verlegen, // Sie wissen nicht, wohin sich bewegen».

Вместо характерного для Г. Гейне дольника А. К. Толстой использует правильный четырехстопный амфибрахий. При этом авторское прочтение русским поэтом фрагмента произведения Гейне содержит существенные семантические отличия. Если у Гейне строфа открывается риторическим вопросом, являющимся одновременно и приветствием, обращенным к читателю поэтического послания («Du fragst mich, wie es uns hier ergeht?»), то А. К. Толстой ни к кому не обращается, а со специфической акцентуацией говорит о погоде, затрудняющей положение флюгеров: «Безоблачно небо, нет *ветру* с утра, // В большом затруднении торчат *флюгера*». Если Гейне считает необходимым кратко обрисовать окружающую обстановку («Hier ist es still, kein Windchen weht, // Die Wetterfahnen sind sehr verlegen»), то Толстой продолжает описание сомнений флюгеров, завершающееся вопросительной фразой: «Уж как ни гадают, никак не добьются, // В которую сторону им повернуться?».

Как видим, лексико-семантическая и грамматическая структура двух стихотворений существенно отличаются. И потому имеются основания полагать, что русский писатель выполнил авторизованную интерпретацию стихотворения немецкого поэта, привнеся черты собственного писательского мышления и стиля.

Гейневское стихотворение «Es ragt ins Meer der Runenstein...», входящее в подцикл «Серафина» из цикла «Разные» книги «Новые стихотворения» (1828–1844), стало известно российским читателям в 1856 г. благодаря переводу А. К. Толстого «У моря сажу на утесе крутом...» [1, с. 347]. Это произведение, наполненное грустью о прошедшей юности и потерянных друзьях, вызванной встречей автора с беспокойным морем, было довольно верно передано Толстым, хотя традиционный гейневский дольник и в этом случае был заменен амфибрахией – четырехстопным в нечетных и трехстопным в четных стихах.

Оставаясь предельно близким оригиналу, перевод А. К. Толстого передает многие нюансы немецкого текста; например, для усиления скорбного эффекта и тревожности Гейне нарочито использует в обоих четверостишиях своего стихотворения повторение синтаксических конструкций, содержащих одинаковые лексические единицы с небольшой инверсией: «*Es pfeift der Wind, die Möwen schreien, // Die Wellen, die wandern und schäumen. // <...> // Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind, // Es schäumen und wandern die Wellen*». Толстой также последовательно придерживается этого правила: «Лишь *ветер*, да тучи, да чайки кругом, // *Кочуют и пенятся волны. // <...> // Куда вы сокрылись? Лишь *ветер*, да рев, // Да *пенятся волны, кочуя*».*

Вместе с тем перевод изначально сложного немецкого текста потребовал от А. К. Толстого пропуска, замены некоторых художественных деталей, не имеющих существенного значения для передачи общего смысла произведения, а также уточняющих дополнений. Например, в русском переводе отсутствует характеристика утеса, который, словно рунами, покрыт мхами и водорослями и на котором восседает автор, зато расширенно трактуется значение слова «die Träumen»: «*Es ragt ins Meer der Runenstein, // Da sitzt ich mit meinen Träumen*» – «У моря сажу на *утесе* крутом, *мечтами и думами* полный».

Перевод Толстого насыщен дополнениями и уточнениями оригинального текста: над морем нависают грозные *тучи*, сильный ветер и шум прибоя создают *рев*, вместо гейневского «manch schönes Kind» герой русского перевода вспоминает «ласковых дев». В свою переводческую интерпретацию

Толстой вносит стих, в смысловом плане несоотносимый с оригиналом: «Их ныне припомнить хочу я».

И оригинал Гейне, и его интерпретация русским поэтом характеризуются употреблением устаревших слов и выражений, выступающих, как правило, в качестве маркера конкретного национального языка. Например, для обозначения объекта своих воспоминаний Г. Гейне употребляет лексему, характеризующую большей частью разговорный немецкий язык, – «die Gesellen». В свою очередь, А. К. Толстой использует в тексте перевода такие русские архаизмы, как «знавал», «сокрылись» и др.

Первый русский перевод стихотворения «Die schlanke Wasserlilie...» Г. Гейне, входящего в цикл «Новая весна» из книги «Новые стихотворения» (1828–1844), был осуществлен А. К. Толстым в 1856 г. и известен под названием «Из вод подымая головку...» [1, с. 347].

Мастер поэтических бытовых зарисовок и стихотворных пейзажей, Г. Гейне привлекал А. К. Толстого оригинальностью восприятия отдельных аспектов окружающего мира, умением увидеть в повседневности, в особенности в явлениях природы, некий потаенный смысл и необыкновенную гармонию, а затем поэтически выразить увиденное и прочувствованное. Переводя «Die schlanke Wasserlilie...», Толстой воспринимал способность великого предшественника отмечать неожиданные тайны, скрытые за обыденными явлениями.

Передавая дольник немецкого оригинала трехстопным амфибрахией с характерной перекрестной рифмой, Толстой стремился в переводном стихотворении к абсолютной идентичности средств языковой выразительности. Высокий уровень совершенства русского перевода виден уже в начальных стихах, содержащих необходимую инверсию отдельных словосочетаний и удачно включающих в себя недостающие для построения стихотворного размера лексемы, подходящие по смыслу для адекватного перевода: «Die schlanke Wasserlilie // Schaut träumend empor aus dem See; // Da grüßt der Mond herunter // Mit lichtem Liebesweh» – «Из вод подымая головку, // Лиля в раздумье глядит; // С высот улыбаяся, месяц // К ней тихой любовью горит».

Более того, в определенных случаях общее впечатление от перевода превосходит эстетическое ощущение от восприятия оригинального текста. Например, если у Г. Гейне лилия наклоняет головку на обычные волны водоема: «Verschämt senkt sie das Köpfchen // Wieder hinab zu den Well'n», то А. К. Толстой применяет метафорическое выражение: «Лиля стыдливо склонила // Головку на *зеркало вод*». Для полноценной передачи смысла, содержащегося в эпитете «blassen» («Da sieht sie zu ihren Füßen // Den armen blassen Gesell'n»), Толстой снабжает повествование его расширенной трактовкой: «А он уж у ног ее, бледный, // *Трепещет и блеск свой лиет*».

Нужно отметить, что перевод Толстого, следуя за оригиналом Гейне даже в мельчайших лексико-семантических нюансах, содержит в нечетных стихах неправильные рифмы: если Г. Гейне рифмует «Wasserlilie»–«herunter» и «Köpfchen»–«Füßen», то Толстой – «головку»–«месяц» и «склонила»–«бедный». Такая небрежность Г. Гейне в выборе рифмы в непринципиальной ситуации вполне соответствовала отношению к рифме А. К. Толстого. В письме к Б. М. Маркевичу от 20 декабря 1871 г. он сообщает: «Я допускаю иногда плохие *рифмы*, но не плохие стихи. Плохие рифмы я сознательно допускаю в некоторых стихотворениях, где считаю себя вправе быть небрежным, – однако небрежным только в отношении рифмы» [2, с. 375–376].

Как и в других переводах, А. К. Толстой в данном случае стремится украсить свое произведение словами и выражениями, имеющими оттенок старины; к таковым, безусловно, относятся «лилея», «улыбаяся», «блеск <...> лиет» и др.

В 1868 г., спустя двенадцать лет после осуществления рассмотренных выше переводов, А. К. Толстой вновь обратился к переводам из Г. Гейне.

Баллада Гейне «König Richard», вошедшая в цикл «Истории» книги поздних стихов «Романсеро» (1846–1851), в переводе Толстого получила название «Ричард Львиное сердце». Увлечение историей обусловило заинтересованный и бережный подход Толстого к данному произведению, созданному прикованным к постели вследствие тяжелого недуга немецким классиком. «Я сочиняю много стихов, некоторые действуют на меня как магические заклинания и укрошают мою боль, когда я их бормочу про себя», – писал Г. Гейне в тот период своему издателю Ю. Кампе [3, с. 213].

А. К. Толстой был далеко не первым, кто обратился в России к переводу баллады Г. Гейне «König Richard», привлекавшей своей мужественной патетикой многих русских писателей [1, с. 433–434]. Первым переводчиком «Короля Ричарда» на русский язык явился М. Л. Михайлов («Король Ричард» («Всадник несется на борзом коне...»), 1858), затем это произведение перевел В. Д. Костомаров («Король Ричард» («Мчится верхом по дремучим лесам...»), 1864). С использованием несвойственного оригиналу хорейского метра выполнил перевод гейневского «Ричарда» Е. Зинов («Король Ричард» («Через лес широкий, зеленью одетый...»), 1865).

Обращение А. К. Толстого к «König Richard» Г. Гейне можно объяснить не только стремлением к оригинальной интерпретации стихов немецкого поэта. В 1868 г. Толстой находится в полном расцвете творческих сил, он достаточно успешен и совершает регулярные поездки за границу. Вполне вероятно, что перевод гейневского «König Richard» связан со вступлением Толстого в период душевного освобождения от тяжелых дум, обусловленных обстоятельствами жизни, и потому стихи «Ричарда Львиное сердце» выражают его внутреннее состояние: «Дышать на свободе привольно ему, // Он чувствует свое возрождение, // И душную он вспоминает тюрьму, // И шпорит коня в упоенье».

А. К. Толстой, достигавший полной адекватности передачи лексико-семантической наполненности переводного произведения, стремился не только воссоздать на русском языке все совершенство гейневских стихов, но и в собственном прочтении желал превзойти переводимый текст. Толстому, хорошо знавшему историю европейских государств, хотелось приблизить название переводного произведения к историческому факту официального обозначения короля Ричарда – Ричард Львиное сердце (Richard Lion-Hearted), вследствие чего стихотворение получило более «рыцарское» название.

Придав перекрестно рифмуемому дольнику Г. Гейне размер четырехстопного амфибрахия в нечетных стихах и трехстопного в четных, А. К. Толстой, безусловно, «утяжелил» общую смысловую нагрузку «Ричарда Львиное сердце». Русский переводчик в полной мере использует инверсивные конструкции, при этом дополняя описания несвойственными оригиналу характеристиками: «Wohl durch der Wälder einödige Pracht // Jagt ungestüm ein Reiter; // Er bläst ins Horn, er singt und lacht // Gar seelenvergnügt und heiter» – «В пустынной дубраве несется ездок, // В роскошном лесистом ущелье, // Поет, и смеется, и трубит он в рог, // В душе и во взоре веселье».

Желая придать переводу яркую поэтичность, А. К. Толстой оптимизирует набор характерных для немецкого оригинала лексическо-грамматических средств. Гейневское «die Wälder einödige Pracht» интерпретируется Толстым в «пустынную дубраву» и «роскошное лесистое ущелье». Характеристика исполненного радости Ричарда («Gar seelenvergnügt und heiter»), состоящая из сочетания наречия и двух прилагательных, видоизменяется в переводе в ряд существительных: «В душе и во взоре веселье». Гейневский стих «Noch stärker ist sein Gemüte» в авторском прочтении Толстого обретает семантическую емкость, причем переводчик дополняет его существенной для исторической правды лексемой: «Знаком его меч *сарацинам*». Если у Гейне рыцаря приветствуют деревья с зелеными языками («“Willkommen in England!” rufen ihm zu // Die Bäume mit grünen Zungen»), то у Толстого к Ричарду обращаются и листва деревьев, и стены плюща: «“Здорово, король наш!” – лепечут листья // И плюща зеленые стены».

Гейневский стих о том, как хорошо чувствует себя Ричард на свежем воздухе («Dem König ist wohl in der freien Luft»), приобретает в русском варианте дополнительную выразительную характеристику: «*Дышать* на свободе *привольно* ему». Используемый Гейне возвратный глагол в сочетании с прилагательным помогает передать ощущения как бы заново родившегося короля Ричарда («Er fühlt sich wie neugeboren»), – в переводе Толстого описание оказывается более обыденным: «Он *чует* свое *возрождение*». Запах австрийского заточенья, о котором вспоминает английский ратник в произведении Гейне («Er denkt an Östreichs Festungsduft»), преобразуется у Толстого в воспоминание о душной тюрьме: «И душную он вспоминает тюрьму». Заключительный стих Гейне («Und gibt seinem Pferde die Sporen») в трактовке Толстого содержит упрощенную, русифицированную форму передачи действия («шпорит» вместо «gibt die Sporen») и дополнен отсутствующим в оригинале уточнением: «И шпорит коня *в упоенье*».

Наряду с лексико-семантическим обогащением переводного произведения А. К. Толстой осуществил также отход от некоторых содержащихся в оригинальном произведении уточнений. Если у Гейне Ричард Львиное сердце является всадником («der Reiter»), то Толстой называет его «ездоком», двойная гейневская характеристика быстрой скачки героя повествования («jagt ungestüm») воплощается Толстым в лаконичное обозначение – «несется». Крепкие латы воина изготовлены у Гейне из цветных металлов: «Sein Harnisch ist von starkem Erz» (das Erz – *поэт.* бронза, медь), тогда как у Толстого доспехи героя сделаны из стали: «Он в крепкую броню стальную одет». Гейневский «цвет» христианского рыцарства как особого сословия средневекового общества («der christlichen Ritterschaft Blüte») превращается Толстым в «цвет» простых воинов: «Христовых то воинов цвет».

Толстой, в отличие от Гейне, нашел целесообразным внести в третью строфу перевода стихотворения «König Richard» (“Willkommen in England!” rufen ihm zu // Die Bäume mit grünen Zungen – // “Wir freuen uns, o König, daß du // Östreichischer Haft entsprungen”) повтор приветственной синтаксической конструкции, причем сделал это при помощи анафонии «*лепечут листья*» и характерной русификации содержащего анафору текста: «“Здорово, король наш! – лепечут листья // И плюща зеленые стены, – // *Здорово, король наш!* Мы рады, что ты // Ушел из австрийского плена!”».

Примечательно насыщение Толстым переводного текста неправильными ударениями, вносящими в повествование специфический анахронический колорит: «Поет, и смеется, и трубит он в рог»; «Он в крепкую броню стальную одет»; «И плюща зеленые стены». Кроме того, стихотворение «Ричард Львиное сердце» наполнено лексемами, передающими национальный колорит и в очередной раз подчеркивающими авторизованность перевода А. К. Толстого: «во взоре», «лепечут», «привольно», «чует», «возрождение», «в упоенье» и др.

Переводное стихотворение Толстого «Обнявшись дружно, сидели...» представляет собой удачную интерпретацию гейневского «Mein Liebchen, wir saßen beisammen...» из цикла «Лирическое интермеццо» (1822–1823) «Книги песен», одного из самых популярных среди русских переводчиков сочинений Гейне.

Первый перевод «Mein Liebchen, wir saßen beisammen...» Г. Гейне принадлежит перу И. П. Крешева («Смеркался вечер голубой...», 1843). В 1850 г. в журнале «Современник» был опубликован перевод данного гейневского произведения за подписью Н. Сп-ова («Во тьме ночной, с подружкой милой...»), а в 1858 г. появился перевод, подписанный неким П. К-ва («Ты помнишь ли? Вместе с тобою...»). Известны переводы «Mein Liebchen, wir saßen beisammen...», выполненные современниками А. К. Толстого: А. А. Фетом («Мой друг! Мы с тобою сидели...», 1859), П. И. Вейнбергом («Моя дорогая, сидели...», 1860), А. П. Мантейфелем («Мой друг, мы сидели с тобою...», 1860), Н. Кельшем («Бурною ночью с подружкой милой...», 1861), Н. П. Грековым («Мы с тобой сидели рядом...», 1863), А. Н. Майковым («В легком челне мы с тобою...», 1866) [1, с. 175–176] и др.

Полные невыразимой печали стихи Г. Гейне являлись созвучными мироощущению многих российских поэтов, однако только А. К. Толстой, по причине особой созвучности гейневского произведения его внутреннему миру, уловил и смог адекватно передать сложную ритмику немецкого текста. Толстым вновь удачно выбран близкий гейневскому дольнику трехстопный амфибрахий с перекрестной рифмовкой стихов: «Mein Liebchen, wir saßen beisammen, // Traulich im leichten Kahn. // Die Nacht war still, und wir schwammen // Auf weiter Wasserbahn» – «Обнявшись дружно, сидели // С тобою мы в легком челне, // Плыли мы к неведомой цели // По морю при тусклой луне».

При переводе Толстой допустил значительные расхождения с грамматической и лексико-семантической наполненностью немецкого оригинала. Так, если для Гейне в начале повествования оказывается существенным обращение к возлюбленной («Mein Liebchen, wir saßen beisammen, // Traulich im leichten Kahn»), то Толстой начинает перевод с изложения воспоминаний: «Обнявшись дружно, сидели // С тобою мы в легком челне». При этом наречия, используемые в немецком тексте для описания художественных деталей, передаются на русский язык посредством деепричастного оборота, компоненты которого не дают дословного перевода: «wir saßen beisammen, traulich» – «Обнявшись дружно, сидели».

Если в немецком тексте четко указано время суток, когда разворачивается основное действие («Die Nacht war still»), то в переводе Толстого упоминаются лишь отдельные детали природного мира: «Плыли мы <...> при тусклой луне». Кстати, упоминание о том, что ночь является спокойной («still»), в переводе Толстого отсутствует, зато перевод первой строфы обогащен отсут-

ствующей в оригинале некоей «неведомой целью», по направлению к которой движутся герои стихотворения.

Примечательно дальнейшее использование А. К. Толстым в переводе «*Mein Liebchen, wir saßen beisammen...*» выразительных лексико-семантических средств. Таинственный остров, располагающийся, согласно оригиналу Гейне, в сумрачном блеске луны («*Die Geisterinsel, die schöne, // Lag dämmerig im Mondenglanz*»), в изложении Толстого «виден, как сквозь покрывало». События, происходящие на острове, также по-разному описываются немецким и русским поэтами. Если у Гейне носителем действия являются конкретные звуки и танец: «*Dort klangen liebe Töne, // Und wogte der Nebeltanz*», то Толстой обобщает мысль местоимением «все»: «Светилося все, и звучало, // И весело двигалось там». Попутно русский писатель оттеняет гейневскую характеристику танца как хмельного действия (*der Nebel* – разг. легкое опьянение), в его изложении «*все <...> весело двигалось там*».

Существенные расхождения между художественным оригиналом и его русским переводом можно видеть до конца повествования. В частности, в смысловом плане разительно отличаются от оригинальных начальные стихи заключительной строфы перевода Толстого: «*Dort klang es lieb und lieber // Und wogt' es hin und her*» – «И так нас к себе несдержимо // Звало и манило вдали».

Также следует отметить факт нарочитого применения А. К. Толстым в переводе гейневского «*Mein Liebchen, wir saßen beisammen...*» неправильных ударений, аналогичной акцентуации отдельных слов в стихотворении «Ричард Львиное сердце»: «Плыли мы к неведомой цели»; «Звало и манило вдали, // <...> // По темному морю плыли». Как уже отмечалось ранее, этот прием способствует усилению архаического эффекта, проявляющегося также и в русизмах, ставших постоянными спутниками поэтического творчества А. К. Толстого: «обнявшись», «светилося» и др.

Последним из шести стихотворений Г. Гейне, переведенных А. К. Толстым, является «*Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...*», входящее в цикл «Возвращение на родину» (1823–1824) «Книги песен». Перевод данного произведения, выполненный Толстым по просьбе И. А. Гончарова для включения в пятую часть романа «Обрыв», получил название по первому стиху: «Довольно! Пора мне забыть этот вздор...». В письме Б. М. Маркевичу от 9 декабря 1868 г. А. К. Толстой сообщал: «Это написано по заказу и не имело другой претензии, как только передать м ы с л ь оригинала» [4, с. 604].

Русский перевод гейневского стихотворения «*Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...*» был необходим И. А. Гончарову как эпиграф к роману «Вера», создаваемому главным героем «Обрыва» Борисом Павловичем Райским, собирающимся покончить с безрадостным прошлым. И. А. Гончаров так описывает приготовления Райского к большому писательскому труду: «Теперь эпиграф: он давно готов! – шепнул он и написал прямо из памяти <...> стихотворение Гейне, и под ним перевод, сделанный недавно» [5, с. 440].

Стихотворение А. К. Толстого «Довольно! Пора мне забыть этот вздор...» является самым популярным русским переводом гейневского «*Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...*», выдержавшим значительное число переизданий. Тем не менее первым переводчиком гейневского произведения был А. Н. Майков («Пора, пора за ум мне взяться», 1857), затем «*Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...*» переводили М. Петровский («Пора мне бросить глу-

пость эту...», 1858), Ап. А. Григорьев («Не пора ль из души старый вымести сор...», 1859) [1, с. 229–230].

А. К. Толстой избрал для переложения гейневского дольника уже ставший привычным амфибрахий – четырехстопный в нечетных стихах и с трехстопный – в четных: «Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand // Mich aller Torheit entled'ge; // Ich hab so lang als ein Komödiant // Mit dir gespielt die Komödie» – «Довольно! Пора мне забыть этот вздор, // Пора мне вернуться к рассудку! // Довольно с тобой, как искусный актер, // Я драму разыгрывал в шутку!».

Восклицание «Довольно! Пора мне забыть этот вздор...», открывающее перевод А. К. Толстого, более категорично, по сравнению с немецким оригиналом, подчеркивает решимость лирического героя, встающего на путь расставания с опостылевшим прошлым. Если гейневский герой желает избавиться от охватившего его безумия («Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand // Mich aller Torheit entled'ge»), то лирический герой у Толстого уверен, что ему необходимо изменить свой внутренний мир: «Довольно! Пора мне забыть этот вздор, // Пора мне вернуться к рассудку!».

Своеобразно переданы Толстым лексемы «ein Komödiant» и «die Komödie» из стихотворения Гейне: «Ich hab so lang als ein Komödiant // Mit dir gespielt die Komödie». Саркастически называющий себя комедиантом гейневский герой получает у Толстого характеристику «искусного актера», а сама жизненная комедия определяется в качестве «драмы, разыгрываемой в шутку»: «Довольно с тобой, как искусный актер, // Я драму разыгрывал в шутку».

Изображение роскошных кулис, на фоне которых происходит жизненное представление, простирается в немецком оригинале на два стиха: «Die prächt'gen Kulissen, sie waren bemalt // Im hochromantischen Stile»; у Толстого подробное описание заменено коротким стихом: «Расписаны были кулисы пестро». Упоминание Гейне о высоком романтическом стиле оказывается вне поля зрения русского поэта, зато он вводит иную художественную деталь, отсутствующую в оригинале: «Я так декламировал страстно».

Нельзя сказать, что в своем переводе А. К. Толстой превосходит оригинал немецкого писателя (так, плащ главного героя у Гейне обладает сразу тремя характеристиками вместо одной у Толстого), однако русскому переводчику все же удалось придать образу актера особую неповторимость, упомянув, например, шляпу с пером: «И мантии блеск, и на шляпе перо».

Сброшенная гейневским героем несуразная мишура («der tolle Tand») еще более презрительно названа Толстым тряпьем и театральным хламом: «Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье, // Хоть нет театрального хламу». Если комедиант Гейне просто чувствует себя жалким человеком («Noch immer elend fühl ich mich, // Als spielt ich noch immer Komödie»), то у Толстого ощущения актера-трагика выражены более ярко: «Доселе болит еще сердце мое, // Как будто играю я драму».

Концентрируя внимание на собственных размышлениях о мнимой и реальной боли, Толстой практически не переводит начальные стихи строфы, завершающей произведение Гейне («Ach Gott! im Scherz und unbewußt // Sprach ich, was ich gefühlet»), однако сохраняет обращение к Всевышнему, появляющееся в переводном тексте несколько позже, чем в оригинале: «И что я поддельною болью считал, // То боль оказалась живая – // О боже, я раненый насмерть играл...».

Апофеозом выполненного Толстым русского перевода стихотворения Гейне стали заключительные строки; в них несущий в своей груди смерть и играющий с ней гейневский фехтовальщик («Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust // Den sterbenden Fechter gespielt») возвышенно сравнивается русским поэтом со смертельно раненым гладиатором: «О боже, я раненый насмерть играл, // Гладью смерть представляя».

В стихотворении «Довольно! Пора мне забыть этот вздор...» А. К. Толстой уделяет внимание использованию традиционных для него лексико-семантических и грамматических возможностей языка, в частности неправильного ударения в стихе «Расписаны были кулисы пестро», устаревших форм отдельных слов и словосочетаний («доселе», «гладью» и др.).

Как видим, в переводах гейневских произведений, выполненных А. К. Толстым, четко прослеживается тенденция к самобытности, авторизованному прочтению немецких текстов. В авторском прочтении наследия Г. Гейне А. К. Толстой выступает не только и не столько переводчиком, сколько самобытным русским поэтом, своеобразно трактующим гейневское творчество, стремящимся к самостоятельности и самодостаточности.

Список литературы

1. Генрих Гейне: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке / сост. А. Г. Левинтон. – М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 720 с.
2. **Толстой, А. К.** Собрание сочинений : в 4-х т./ А. К. Толстой. – М. : Правда, 1969. – Т. 4.
3. **Гейне, Г.** Стихи / Г. Гейне. – М. : Детская литература, 1984. – 222 с.
4. **Толстой, А. К.** Полное собрание стихотворений : в 2-х т. / А. К. Толстой. – Л. : Советский писатель, 1984. – Т. 1–2.
5. **Гончаров, И. А.** Обрыв / И. А. Гончаров. – М. : Художественная литература, 1983. – 448 с.

ПОЛИЛОГ – ТРЕТЬЯ ФОРМА РЕЧИ?

Статья посвящена обоснованию лингвистического статуса полилога как третьей формы речи. На основе сопоставительного анализа монолога, диалога и полилога выявляются их сущностные характеристики, отмечаются общие и дифференциальные черты, и на этой основе определяются типологические характеристики полилога.

...человечество очень долго питалось представлениями о множественности, и то, что сейчас воспринимается нами как единичность, для него было частью все той же множественности.

М. М. Маковский
A nescire ad non esse

Специфические черты монологической и диалогической речи привлекают все большее внимание современных исследователей. Следствием этого интереса является огромное количество исследований, посвященных монологу и диалогу. Полилогу, как отмечает А. Р. Балаян, «повезло» гораздо меньше, а точнее сказать, вообще не повезло» [1, с. 65]. До недавнего времени ситуации общения, включающие более двух участников, часто либо вообще игнорировались исследователями, либо трактовались как частный случай диалога. Незавершенность проблем полилога вела к их отождествлению с проблемами монолога и диалога. Например, возникало сомнение, имеется ли в полилоге новое лингвистическое качество по сравнению с диалогом, или полилог – это всего лишь сумма составляющих его микродиалогов или монологических реплик.

Однако в настоящее время все же наметились положительные тенденции к принципиальному отличию двусторонней и многосторонней форм коммуникации. О необходимости размежевания этих форм речи свидетельствуют первые шаги, предпринятые исследователями в основном на материале драматических произведений.

По нашему мнению, в ближайшем будущем исследовательский интерес, несомненно, сместится со стилизованной речи и будет направлен на естественную многостороннюю речь, поскольку в связи с бурным развитием прикладной лингвистики обращение к изучению живого общения – настоятельная необходимость нашего времени.

Для языковой действительности рубежа XX и XXI столетий наряду с диалогом характерна экспансия многосторонних видов коммуникации. Полилог в самых разнообразных его проявлениях получает широкое распространение. В средствах массовой информации (теледебаты, телемосты, круглый стол с привлечением нескольких участников, ток-шоу и т.д.), в связи с развитием сетевой коммуникации (электронные сетевые конференции), расширением международных контактов (симпозиумы, конференции, школы-семинары и т.д.), на страницах газет и журналов дискуссионные жанры (те-

матическая беседа, интервью с группой экспертов и др.) занимают все более прочные позиции.

Исследования монологического и диалогического видов дискурса показывают, что эти формы речи не «покрывают» особенностей полилогической формы общения, не отражают его специфики. Возрастающая роль экстралингвистических факторов, таких, например, как количество коммуникантов, своеобразие ситуации общения, его иерархичность в случае наличия асимметрии в социальном статусе общающихся и др., обеспечивают специфичность коммуникативных стереотипов, выходящих за рамки монолога и диалога.

В силу вышеизложенного лингвистический анализ многостороннего дискурса должен включать следующие аспекты:

- комплексное исследование (с привлечением данных ряда наук: прагматики, социологии, социальной психологии, теории речевой деятельности, дискурсологии) полилогической коммуникации как **особой формы** речевой деятельности;

- изучение спонтанной звучащей речи в специфических условиях многосторонней коммуникации;

- в случае звучащего дискурса разработку критериев макросегментации звучащего текста, обусловленных социальными, межличностными отношениями коммуникантов и спецификой ситуации общения;

- исследование проблемы взаимодействия лексико-семантических, семантико-синтаксических, просодических средств его связности; оптимизирующей функции просодии при восприятии содержательной информации полилогического единства и осуществления определенного воздействия на адресата (адресатов) с учетом двух видов обращенности в полилоге: аксиальной и ретиальной;

- комплексное исследование и моделирование просодико-семантико-прагматической вариативности полилогического дискурса с опорой на языковое сознание партнеров по коммуникации на материале разных языков.

Разумеется, это далеко не полный перечень проблем, подлежащих изучению при исследовании полилога, а лишь первые пробные шаги.

При анализе монологической, диалогической и промежуточных форм речи должны определяться сходные и отличительные черты между ними и на этой основе анализироваться типологические характеристики полилогической формы общения.

Проблема полилога и необходимость его изучения осознаны в лингвистике недавно. Термин «полилог» нашел словарное отражение лишь в последних изданиях «Большого энциклопедического словаря», где это понятие выделено в отдельную статью [2]. До недавнего времени диалог трактовался как «форма устной речи, разговор *двух* или *нескольких* лиц» [3, с. 388].

Вопрос о том, считать ли полилог разновидностью диалога или суммой диалогов, рассматривать ли его в качестве полноценной формы речевого общения, до сих пор является дискуссионным среди лингвистов.

Сторонники трактования диалога как двустороннего, так и многостороннего речевого акта и закрепления данного термина в качестве основополагающего для двух *разных* видов общения выдвигают несколько аргументов.

Существенным аргументом в пользу диалога в качестве родового понятия для речевой коммуникации как двух, так и более человек, по мнению не-

которых исследователей, является факт определения диалога в словарях как *поочередного* общения между двумя или несколькими лицами.

Заметим, что рассмотрение сущности полилога через призму диалога (на основании трактования диалога как «взаимословия» и перенесения данного принципа речевого взаимодействия на полилог) не всегда правильно, поскольку механизм проявления данной характеристики в полилоге иной, чем в диалоге.

В качестве следующего соображения в пользу диалога выдвигается тезис о том, что речевое взаимодействие двух лиц – это самая естественная и основополагающая форма общения.

Не оспаривая данного положения, следует заметить, что в жизни существует бесчисленное множество ситуаций, когда речевое взаимодействие осуществляется между несколькими людьми.

Вследствие растущего влияния СМИ якобы именно понятие диалога из сферы идеологии и политики проникает в языковой обиход носителей языка как понятие взаимопонимания между людьми разных стран [4].

Однако как же быть с «плюрализмом мнений», понятием, так же прочно вошедшим в языковой обиход разных этносов, как выражение толерантности к разным точкам зрения и, таким образом, ведущим к взаимопониманию. В «Декларации принципов толерантности», утвержденной резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 1995 г., есть определение толерантности межкультурных отношений: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого *многообразия культур* нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в *многообразии*» [5].

Приводятся и другие противоречивые аргументы в пользу диалога. Некоторые лингвисты, говоря о политематизме полилога, отмечают, что тематическая полифония свойственна и диалогу [6]. Этот факт поэтому дает основание не выделять полилог в особую форму речи.

Дело в том, что политематизм в полилоге и диалоге – это разнородные понятия. Политематичность в диалоге задается лишь двумя коммуникантами и, следовательно, зиждется на ментальной репрезентации лишь двух индивидов, в то время как в полилоге тематическое многообразие представлено ментальностью нескольких личностей, что в значительно большей степени расширяет его тематическое пространство, обогащает общение, делает его разнообразнее.

Даже словообразовательная модель термина «полилог», по мнению некоторых лингвистов, не дает основание для выделения его в самостоятельный термин: «Не слишком удачным представляется и сам термин «полилог». Включаясь в цепочку соотносительных обозначений «монолог»–«диалог»... термин «полилог» как бы задает всему ряду словообразовательную изоморфность и семантическую одноплановость, предполагая возникновение его компонентов, так сказать, на едином основании...» [6, с. 90].

Заметим, что хотя термин «полилог» и имеет словообразовательную одинаковость с терминами «монолог» и «диалог» ввиду возникновения его компонентов по аналогии, однако никакой семантической одноплановости полилог как тип речи не задает в силу *качественно* иных характеристик своей структуры и, следовательно, семантики, выражая множественность смысловых позиций.

Старая трактовка диалога как речевого взаимодействия двух или *нескольких* собеседников в настоящее время не отражает истинного положения вещей. Термин «полилог» уже получил право «гражданства», и, следовательно, данная форма речи должна быть признана равноправной наряду с монологом и диалогом. «Ломание копий по поводу числа участников в акте говорения, именуемого диалогом, после распространения и принятия «прав гражданства» в терминологии понятия «полилог» должно отойти в прошлое» [7, с 124]. Следует отметить, что термин «полилог» в целом является прерогативой отечественных лингвистов. На наш взгляд, данный термин называет емкое понятие. Его первая составная часть от греческого «*polys*» – «многочисленный», указывающая на множество, разнообразный состав чего-либо, весьма удобна, с одной стороны, для анализа трилогов, тетралогов, пенталогов и т.д. с учетом количественного фактора. С другой стороны, многосторонний характер общения предполагает развитие политематики в одном дискурсивном событии, анализ которой позволяет выявить основные и побочные дискурсивные линии, способствующие созданию целостного речевого произведения. Наконец, в этом термине заложена мультиролевая и межличностная обусловленность отношений участников, позволяющая по-иному, чем в диалоге, рассмотреть прагматическую сторону данного вида дискурса.

В отечественной науке полилог долгое время оставался объектом анализа литературоведов, изучавших его возможности для раскрытия замысла произведения, динамического развития сюжетных линий и характеристики персонажей. При этом полилог считался диалогом особого типа с тремя и более участниками коммуникативного акта. Существовало также понятие «многоголосые диалоги» [8]. *Лингвистические* сведения (весьма скудные и нерегулярные) о полилоге стали появляться с конца 70-х гг. XX в. Это изучение не имело всеобъемлющего характера, а скорее было эпизодическим, попутным в связи с рассмотрением других проблем. Если проследить хронологию появления исследований, посвященных полилогу, то можно отметить лишь единичные работы (иногда в виде сообщений), в целом скудно «проливающие свет» на данную проблему. Но и эти «ростки» весьма ценны, поскольку в сравнении с зарубежными исследованиями (в основном ток-шоу), обращенными к социально-психологической стороне проблемы, посвящены чисто лингвистическим и дидактическим проблемам.

На основе сопоставления монологической, диалогической и полилогической форм речи сделаем некоторые общие выводы относительно их наиболее значимых характеристик и попытаемся ответить на вопрос, озаглавливающий нашу статью.

1. Разграничение монологической и диалогической форм речи, по мнению многих исследователей, является до некоторой степени условным [9–12]. Условность выделения этих форм вытекает, главным образом, из отрицания лингвистами самостоятельного существования монолога.

2. Несмотря на признание лингвистами монолога несколько искусственной формой речи, он, тем не менее, является одной из основных и естественных речевых форм.

3. Монологическая речь являет собой максимум самовыражения говорящего.

4. Монолог представляет собой коммуникативно-речевой акт, не рассчитанный на обязательность реакции, тем не менее заключающий в себе

апеллятивность. Цель монолога может считаться достигнутой лишь в случае его восприятия аудиторией.

5. Формы ответствования на монолог могут быть различны – это и передача записок говорящему, и «реплики из зала», иногда изменяющие ход монологического повествования, переходящие в диалог или полилог, переговоры слушателей между собой по поводу услышанного, внутреннее реплицирование.

6. Существование гибридных речевых форм является причиной многочисленных споров лингвистов относительно их «чистых» характеристик и демаркаций между ними. Представляется правомерным говорить лишь об относительном пуризме речевых форм, поскольку речевое самовыражение, как правило, не замыкается в «законодательные» рамки какой-то одной формы.

7. Диалог признается основной и наиболее естественной формой коммуникации по сравнению с монологом.

8. По нашему мнению, стремление некоторых лингвистов и сегодня оставаться в терминологических рамках прошлого создает заведомо ложные предпосылки для лингвистического анализа, вносит путаницу в определение единиц полилогической речи и имеет следствием получение искаженных характеристик и выводов.

9. Словосочетание «диалог с тремя и т.д. участниками» громоздко и не отражает существа многосторонней коммуникации. В данном случае корректнее говорить о конфигурациях речевых ходов, свойственных конкретному типу полилога с определенным количеством участников (тетралогу, пенталогу и т.д.).

10. Особое значение в диалогической и полилогической коммуникации имеет механизм реплицирования, которое является неотъемлемым свойством диалога и полилога. Это качество роднит данные формы речи. Полилог, как и диалог, можно противопоставить монологу. Чередование реплик в полилоге имеет специфические особенности, присущие только этой форме общения. Оно детерминировано квантитативным фактором, межличностными и ролевыми отношениями участников речевого акта. Полилог представляет собой коммуникативный речевой акт, с одной стороны, как в диалоге, рассчитанный на обязательность реакции, с другой стороны, не претендующий в силу своеобразия некоторых реплик на возможную реакцию со стороны всех партнеров, за исключением одного или нескольких. Стимулы и реакции в репликах полилога обнаруживают большое своеобразие. Последующая реплика может являться реакцией на стимул не непосредственного адресата, а временно вербально пассивных участников. Кроме того, такие реплики могут быть реакцией не на предыдущую реплику, а отстоять от нее на значительном расстоянии, т.е. быть удаленными во времени.

11. Чрезвычайно важную роль при изучении диалога и полилога играют экстралингвистические факторы, включающие функциональные составляющие, такие как количество участников, их спецификацию, ситуацию общения. Социальные характеристики коммуникантов, их межличностные и ролевые отношения находят свое выражение в выборе ими языковых и паралингвистических средств, свойственных определенному типу диалога и полилога.

12. Диалогу и полилогу чужда ригидность как их составляющих, так и тематического плана. Обе формы являются живым организмом, отличающимся особым динамизмом, структурной и тематической подвижностью.

13. Для возникновения диалогической и полилогической коммуникации необходимо наличие минимального «напряжения», «интриги», особого импульса.

14. К основным отличиям многосторонней формы речи от двусторонней относятся:

а) более широкий спектр коммуникативных ролей:

– лидерствующего адресанта (модератор, «подпевала», основной интерпретатор, разработчик темы);

– рядового адресанта (медиатор, арбитр, «миротворец» в конфликтах, выразитель мнения всей группы, оценивающий, корректирующий, резюмирующий, «самозванец» во вмешательствах, слегка поддерживающий разговор);

– адресата (прямой, косвенный, формальный, случайный, именованный, неименованный, виртуальный, единичный, множественный и т.д.);

б) непостоянство ролей собеседников;

в) непредсказуемость полилога относительно чередования реплик ввиду возможного вмешательства одного или сразу нескольких участников, переадресации реплик, «замаскированной» адресации, виртуального, случайного вмешательства, влияющих на характер связи реплик, особое комбинирование единиц речевого общения.

15. Полилог имеет свойственную только ему дейктику. Поскольку в нем меняется набор коммуникативных ролей, меняются нормы и варианты вступления в беседу. В процессе полилогического общения группе свойственен распад на коалиции, в связи с этим меняется дейксис лица: наряду с «я», «ты», «вы» появляются «вы», «он», «она», «они».

16. Речевые акты в полилоге выполняют разные иллокутивные функции для различных категорий адресатов.

17. Специфической чертой полилогического общения является возможность обдумывания речевого шага в рецептивном состоянии и отсрочки выступления. В диалоге слишком отсроченная реакция ведет к прекращению коммуникации.

18. Кажущаяся низкая внешняя активность некоторых участников или их временное вербальное неучастие в общении не дает, на наш взгляд, основания для называния таких участников «сторонними наблюдателями» [13]. Молчание, во-первых, являясь нулевым актом, тем не менее многозначно; во-вторых, находясь в рецептивном состоянии, участник «переваривает» услышанное, сопереживает, готовит контраргументы и т.д., т.е. он фактически «не выпадает» из процесса.

19. Лишь некоторые принципы описания диалога могут быть применены и для описания многосторонних речевых актов. Для описания вербальных взаимодействий нескольких людей нельзя полностью применять традиционные методы описания взаимодействий в диаде, т.к. добавление к двум общающимся хотя бы одного собеседника существенным образом модифицирует коммуникативные стратегии и, следовательно, речевые характеристики собеседников. Попытки трансформировать полилог в диалог [14] с минимальными деформациями приводят к кардинальным модификациям семантического характера. Полилог – это не механическая сумма самостоятельных диалогов. Диалоги в составе полилога, как правило, не всегда обладают автосемантической по сравнению с настоящими диалогами. Они декодируемы только в полилогическом контексте.

20. Специфика 16 выделенных нами типов речевого взаимодействия в полилоге (последовательно-линейное, заместительное, переадресованное, отсроченное, совместное, цепное, эстафетное, инициативное, трансмиссивное, редуцированное, инкорпорированное, поддерживающее, замаскированное, виртуальное, случайное взаимодействия, оценочно-модальный речевой ход) (список может быть продолжен!), специфические виды адресации и множество других факторов дают полное основание отличать полилог как **форму речи** от монолога и диалога.

Таким образом, к основным факторам отличия многосторонней коммуникации от двусторонней мы относим следующие:

- 1) квантитативный;
- 2) вариативно-ролевой;
- 3) фактор ретинально-аксиальной адресованности (коллективно-индивидуальная обращенность);
- 4) информативный фактор (речевой акт говорящего, обеспечивающий знание всеми участниками того, какая иллокутивная функция по отношению к непосредственным адресатам им выполняется);
- 5) фактор конструктивной рецепции;
- 6) фактор множественности когнитивных позиций;
- 7) фактор переменной дейктики.

Монолог – это форма общения, в которой выражается *одна* смысловая позиция, в диалоге – *две* смысловые позиции двух участников. В полилоге реализуется *несколько* смысловых позиций в силу мультиперсонализма.

Фактором сближения всех трех форм речи можно считать апеллятивность, дифференцирующим фактором – квантитативность.

Список литературы

1. **Балаян, А. Р.** Еще один монолог о диалоге (полилоге) / А. Р. Балаян // Русский язык за рубежом. – М. : Русский язык, 1981. – № 4. – С. 62–65.
2. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
3. Большой энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1991. – Т. I. – 863 с.
4. **Filippow, K.** Dialog contra Polylog? / K. Filippow, R. Mackeldey // Linguistische Arbeitsberichte. – Leipzig : K.-Marx-Universität, 1985. – № 49. – S. 84–90.
5. Декларация принципов толерантности // Резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.95.
6. **Журавлев, А. Ф.** Опыт квантитативно-типологического исследования разновидностей устной речи / А. Ф. Журавлев // Разновидности городской устной речи. – М. : Наука, 1988. – С. 84–150.
7. **Кромм, О. А.** К разграничению понятий «монолог, диалог, полилог» / О. А. Кромм // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität. 1980. – № 2. – С. 121–127.
8. **Будагов, Р. А.** Литературные языки и языковые стили / Р. А. Будагов. – М. : Высшая школа, 1967. – 375 с.
9. **Бахтин, М. М.** Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 250–296.
10. **Бахтин, М. М.** Из архивных записей к работе «Проблемы речевых жанров». Диалог. Диалог 1. Проблема диалогической речи. Диалог 2 / М. М. Бахтин // Собрание сочинений. – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. – С. 207–218.

11. **Винокур, Г. О.** О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи / Г. О. Винокур // Исследования по грамматике русского литературного языка. – М. : АН СССР, Ин-т языкознания, 1955. – 354 с.
12. **Якубинский, Л. П.** О диалогической речи / Л. П. Якубинский // Избранные работы. Язык и его функционирование. – М. : Наука, 1986. – С. 17–58.
13. **Кларк, Г. Г.** Слушающие и речевой акт / Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 17. – М. : Прогресс, 1986. – С. 270–321.
14. **Филиппов, К. А.** Лингвистика текста / К. А. Филиппов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. у-та, 2003. – 336 с.

ЖАНРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБСТАНТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ

В настоящей статье рассматривается взаимодействие номинативного аспекта текста и его жанровой принадлежности. В ходе сопоставительного анализа диктем пяти британских медиажанров – портретного очерка (profile), светской хроники (gossip), тематической статьи (feature), репортажа (reportage), комментария (commentary) – выявляется обусловленность выбора субстантивных номинаций жанровой категорией диктемы.

Обращение к жанру в рамках науки о языке не преследует цели изучения лишь исключительно жанра самого по себе, обращение к жанру – это в конечном счете изучение языка в действии. Поскольку вне жанра нет высказывания, поскольку «мы отливаем нашу речь в жанровые формы», которые организуют нашу речь почти так же, как ее организуют грамматические формы» [1, с. 255], поскольку «дискурсивное мышление, обслуживающее задачи создания многообразных речевых произведений, изначально имеет принципиально жанровый характер» [2, с. 18], поскольку, изучая одновременно группу жанров в сопоставлении, исследователь неминуемо погружается в безбрежное пространство функционирования языка, наблюдая, как ресурсы языка гибко приспособляются к постоянно меняющимся коммуникативным условиям.

С точки зрения теории порождения речи (ПР) речевая деятельность рассматривается как путь от мысли к высказыванию через механизмы номинации и предикации. «Существенно упрощая процесс ПР, характеризуя только его главное направление, – пишет Е. С. Кубрякова, – можно сказать, что рождение внешнего речевого произведения начинается в сознании человека тогда, когда «предмысль», разбиваемая на личностные смыслы, создает *кардинальное противопоставление* этих смыслов: одни выстраиваются таким образом, чтобы сформировать будущую пропозицию и связать ее отношениями актуализированной предикации, другие так, чтобы сгруппироваться в единицы номинации или номинативные блоки, которые затем включатся в пропозицию и будут с ней согласованы» [3, с. 31] (курсив наш. – В.А.Т.).

В языке есть «два принципиально различных способа распределить смыслы по языковым единицам и категориям» [3, с. 65]: номинативный путь (подвести смыслы под лексическое значение слов и их эквивалентов) и предикативный, синтаксический (подвести смыслы под грамматические, синтаксические значения сентенционального типа).

На необходимость разграничения номинативного и предикативного механизма речи (заметим, что не все лингвисты видят необходимость в этом) обращает внимание М. Я. Блох в «Теоретических основах грамматики»: «Функциональная сущность предикации до сих пор формировалась обычно как выражение отношения высказывания к действительности или в более расчлененном представлении, как выражение отношения содержания предложения (высказывания) к действительности... Не трудно заметить, что в подобных представлениях предикации *не различаются две кардинальные стороны* содержания предложения – номинативная и предикативная» [4, с. 100] (курсив наш. – В.А.Т.). По мнению М. Я. Блоха, общее содержание, переда-

ваемое предложением, далеко не ограничивается выражением предикативных значений. «В самом деле, для того, чтобы установить в речи... *отношение некоторой субстанции к окружающей действительности, нужно сначала назвать данную субстанцию*, что и осуществляется в предложении при помощи номинативных средств, которыми оно располагает [4, с. 99] (курсив наш. – В.А.Т.).

В качестве единицы исследования в работе принята диктема. М. Я. Блох, разработавший теорию диктемы, под диктемой понимает элементарную тематическую единицу текста, выраженную либо объединением предложений, либо одним-единственным предложением, поставленным в позицию особой информативной значимости [5, с. 56–67].

В содержательном плане в ней находят совокупное выражение четыре главных знаковых аспекта речи: название объектов и ситуаций (номинация), установление их связи с действительностью (предикация), смысловое упорядочивание их отражения, отвечающее информационной цели сообщения (тематизация), и, наконец, выбор языковых форм, соответствующих условиям и требованиям коммуникации (стилизация).

Предпосылкой выбора диктемы в качестве единицы исследования при сопоставлении жанров служит ее способность передавать стилевые особенности всего текста: «именно в диктеме как относительно законченном фрагменте текста выявляется коммуникативное назначение речи как таковой: *что говорится, кому говорится, для чего говорится, а отсюда – как, каким образом, какими средствами говорится*» [5, с. 63].

Номинация – это «отражение внеязыковой действительности в слове» [4, с. 103], именно к ней, к внеязыковой действительности, обращен жанр одной из своих сторон, причем один и тот же фрагмент реальности преломляется по-разному в разных жанрах. Способ представления реальности (события, факта, явления), т.е. разная полнота ее охвата, разный масштаб ее изображения, разный угол зрения на нее – все это обозначается в данной работе через понятие «предмет жанра». Справедливо ли утверждение, что аналогично тому, как происходит выбор единицы номинации в процессе «ословливания» мира, происходит выбор единиц номинации и в процессе создания текста, относящегося к тому или иному жанру? Если да, то что общего можно обнаружить между этими двумя процессами? Прежде всего связь того и другого с внеязыковой действительностью, с онтологией мира. «Для отражения мира в дискретном виде использовались дискретные классы слов, каждый из которых должен был отличаться от другого особым способом представления действительности в особых речемыслительных категориях» [6, с. 26]. Такими речемыслительными категориями явились части речи. Части речи (речь идет о кардинальных частях речи – существительном, глаголе, прилагательном, наречии) по-разному связаны с онтологией мира и по-разному репрезентируют мир в своих семантических структурах.

В рамках ономаσιологического подхода к частям речи акцент делается не столько на том, какие конкретные значения передают отдельные части речи, сколько на том, для обозначения каких сущностей в мире они были созданы. Дифференциация частей речи сопрягается с онтологическими факторами. Признается, что, в реальном мире существуют разнородные объекты разной природы с нетождественными свойствами. Разные сущности, соответственно, именуются разными классами слов. «Способность называть разные

атрибуты материи по-разному, способность слов служить обозначением по-разному осмысленных фрагментов мира приводит постепенно к разному оформлению наименований для разного содержания» [6, с. 26].

В объективной действительности человеческое сознание выделяет прежде всего предметы (статические объекты) и процессы, связанные с этими предметами (их действия, изменения состояния, отношения), а также характеристики объектов и характеристики процессов. Соответственно, существительные и глаголы обозначают субстанции и процессы. Прилагательные и наречия обозначают характеристики субстанций и процессов. Именные классы слов (предметные и признаковые) несут основные ономазиологические категории – категории предметности, процессуальности, признаковости. В основе существительных лежат пространственные координаты, фиксируемые сознанием, они обращены к пространственному параметру мира, в основе глаголов – временные, они организованы временной осью [7, с. 104].

В определенной степени можно согласиться с идеей о том, что текст, по сути, является «единицей номинации» [8] и что его наиболее важным аспектом является «номинативная сторона», т.е. соотносительность языковых элементов с обозначаемыми ими внеязыковыми объектами, реально существующими или мыслительными, т.к. всякий текст «говорит о чем-то» [9, с. 61–66].

Предмет речи, предметная ситуация, находит выражение в номинативном аспекте текста, более того, «любая предикация строится на некоторой номинации как на своей вещественной базе, поскольку для того, чтобы установить в речи (т.е. отобразить сигналами языка) отношение некоторой субстанции к окружающей действительности, нужно сначала назвать данную субстанцию как таковую, что и осуществляется в предложении при помощи номинативных средств» [4, с. 98].

Хотя в речи номинация и предикация выступают в единстве («семантика предложения выявляется в единстве номинативного и предикативного аспектов» [4, с. 98]), мы в соответствии со стоящими перед нами задачами разделим их и сосредоточим наше внимание исключительно на номинативной стороне текста.

Сосредоточимся на ономазиологической категории предметности, субстантивности, и проследим способы ее реализации в разных жанрах, сопоставляя прототипические диктемы, т.е. диктемы, принадлежащие текстам, воплощающим прототипический образ определенного жанра – эталонный, центральный член данной жанровой категории, в котором наличествуют наиболее характерные ее признаки.

В каждом жанре реальный, предметный мир отражается под различным углом зрения, как уже говорилось выше. Обратимся к диктеме **комментария**. Контекст следующий: запретить или сохранить в стране охоту на лис, какой способ регулирования их численности считать наиболее гуманным.

The countryside is going through a catastrophic period. Farmers' incomes range from zero to the derisory; 20,000 workers a year are leaving agriculture; local services are closing; transport is expensive or non-existent. The countryside has formed its own way of life, adapted to this environment over many centuries. The Welshman and the fox have both learnt this skill; they have learnt how to survive on the hills of Wales.

The Sunday Times, 2001, Jan. 21, p. 13

Событийный денотат – охота на лис – встраивается в широкий жизненный контекст, узкая экологическая проблема связывается с экономической ситуацией в сельских регионах страны, с освященным временем культурно-историческими традициями и укладом жизни, с ландшафтно-географическими характеристиками. Все это ведет к укрупнению масштаба изображения, более широкому размаху и большому охвату мира и в конечном счете сказывается на выборе номинативных единиц. Предпочтение отдается единицам, так сказать, «крупного членения» – словам, отсылающим к большим совокупностям людей: *farmers, workres*; словам, используемым в родовом значении, включающим весь класс референтов: *(the) Welshman, (the) fox*; словам с собирательным, недискретным значением: *transport, agriculture*; словам и словосочетаниям, обозначающим большие протяженности в пространстве (*countryside hills of Wales*) и времени (*period, centuries*); словам, обозначающим широкие понятийные категории: *way of life*.

Если в комментарии предметная ситуация вписывается в широкий контекст, то в **репортаже**, напротив, контекст максимально сужается до координат «здесь и сейчас» (*hic et nunc*). В фрагменте, приведенном ниже, репортаж как бы ведется с борта сверхзвукового авиалайнера «Конкорд», выполняющего свой последний прощальный рейс.

Sporting a Concord keyring modified as a necklace, Liz Baikie, from Edinburgh, is on her second Concord flight in 17 weeks. She has even forgone buying a Mini Cooper for the pleasure of this £ 20-a-minute ride to the edge of space. « It is wrong, just wrong, that it should stop, « she says as a red digital display screen on the cabin wall signals that we are travelling at March 2, faster than a bullet».

The Times, 2003, Oct. 17, s. 2, p. 12

Здесь номинативные единицы имеют идентифицирующую референцию «этот». Реализация значения единичности достигается разными номинативными средствами, прежде всего использованием имени собственного *Liz Baikie*, которое по определению, по природе своей отсылает к уникальному референту (лицу). Значение единичности далее реализуются именами нарицательными, которыми автор называет объекты, находящиеся в поле его зрения: *keyring, screen, wall*, более того, данные конкретные, дискретные имена подкрепляются группой уточняющих слов, цель которых еще более ограничить, сузить область референции: *keyring → a Concord keyring modified as a necklace*.

Чтобы вызвать у читателя эффект присутствия, добиться наглядности, автор репортажа конкретизирует изображаемое названием дополнительных, индивидуальных признаков, таких как указание на принадлежность: *Concord* (кроме того, слово, вероятно, ассоциируется и с индивидуальным дизайном, отличающим данный лайнер), на форму: *modified as a necklace*.

В следующей группе: *screen wall → a red digital display on the cabin wall* наряду с дополнительными признаками качества (*digital*), принадлежности (*cabin*) дается указание на пространственные отношения (координата «здесь») путем подчинения одного имени (*screen*) другому (*wall*). Если группа слов *screen on the wall* указывает на внутреннее пространство, то другая группа *to the edge of space* указывает на внешнее пространство за бортом лайнера, который летит со сверхзвуковой скоростью, и находящиеся в нем пассажиры и автор вместе с ними находятся как бы у «кромки пространства»,

на предельно допустимой высоте. Временные координаты («сейчас») выражены в анализируемой диктете максимально конкретно и точно: *March 2*.

Прежде чем мы обратимся к другому жанру – жанру **портретного очерка** (*profile*), заметим, что данный перевод носит несколько вольный характер, т.к. в отечественной журналистике портретный очерк относится к художественно-публицистическим жанрам и предполагает художественный анализ личности, выявление ее глубинного духовного начала. Жанр *profile* в британской прессе, в отличие от отечественного портретного очерка, лежит скорее на границе аналитических и художественно-публицистических жанров, а иногда и на границе аналитических и информационных жанров и может ограничиваться в некоторых случаях задачами политического, делового, профессионального анализа. Что же отличает портретный очерк с точки зрения выбора предметных номинаций?

Middlebrow then, as well as middleclass, Deayton was never likely to fit into the emerging world of punk and fierce alternative comedy. But his near-contemporary at Oxford, Richard Curtis, for whom things would also turn out “pretty well”, saw in him some potential as a comic performer. When Curtis invited him to replace someone who had dropped out of a revue bound for the Edinburgh Festival, Deayton said he would go, even though he was “terrified” at the prospect of being funny on stage.

The Independent, 2001, May, 12, p. 5

Заметно наличие двух разновидностей предметных имен не только в процитированной диктете, но и в других текстах данного типа. Во-первых, это слова, очерчивающие сферу деятельности, мир, в котором герой портретного очерка действует и существует: *world of... comedy, revue, stage*. Здесь речь идет о высокогонорарном шоумене на телевидении, прослеживается его путь к успеху. Перечисленные слова, представляющие собой фрагмент тематического поля (более полную картину которого дает весь текст), неоднородны с точки зрения соотношения в них денотативного и сигнификативного содержания. Лишь слово *stage* содержит денотат в чистом виде, т.е. соотносится с непосредственным объектом реальности, в то время как слова *comedy, revue* являются результатом более сложного переосмысления действительности, выражающегося в превалировании сигнификативного содержания.

Во-вторых, неотъемлемой составляющей портретного очерка являются имена так называемых номинальных классов. «В именах номинальных классов предмет обозначения создается путем приписывания естественным объектам какого-либо признака» [10, с. 117]. В этот класс включается большинство антропонимов, которые обозначают не субстанции, а именуют людей по разнообразным свойствам, признакам и качествам. «Такие имена лиц покрывают широкую сферу всевозможных политических, религиозных, нравственных и прочих характеристик человека» [10, с. 118]. В анализируемой диктете примерами антропонимов являются: *middlebrow* (нравственно-интеллектуальная характеристика), *middleclass* (характеристика по имущественному положению), *performer* (указание рода занятий).

Возникает вопрос: правомерно ли рассматривать данную группу слов, группу антропонимов, в терминах ономаσιологической категории предметности–субстанциональности? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно. Хотя они и обозначают качественную, признаковую характеристику чело-

века, тем не менее в их содержании присутствует смысл «лицо как носитель определенного признака». Поскольку эти слова являются результатом процесса опредмечивания признака, превращения признакового имени в предметное, вполне позволительно, на наш взгляд, с определенными оговорками рассматривать их в ряду собственно предметных имен.

Текстуальная основа портретного очерка формируется словами, обозначающими часть мира, в которой живет и действует герой данного очерка, с одной стороны, и словами-антропонимами, разносторонне характеризующими героя, с другой стороны. Если мы возьмем тексты «светской хроники» (*gossip column*), то не без удивления обнаружим в них, на первый взгляд, эти же группы предметных имен. И это не удивительно, т.к. и в портретном очерке, и в светской хронике в центре внимания конкретное реальное лицо. На этом сходство заканчивается. Светская хроника относится к информационным жанрам, портретный очерк лежит на границе, как уже отмечалось, аналитических и художественно-публицистических жанров: все это ведет к различиям как количественным, так и качественным. В светской хронике освещается отдельный факт/событие, связанное с данным героем, в портретном очерке – совокупность фактов/событий (количественные различия), соответственно, первый жанр ограничивается набором стандартных для данного жанра слов – антропонимов, второй жанр демонстрирует богатую и разнообразную палитру слов этого типа (качественные различия). Нижеследующая диктема принадлежит **светской хронике**.

*A former **bankrupt** who was being treated for **schizophrenia**, the Eton and Yale-educated **Lord** Nicolas is believed to have hanged himself while suffering from **depression**. He was the only son of the **6 th marquess** by his second wife, **Lady Juliet Fitzwilliam**.*

Daily Mail, 1998, Jan. 28, p. 37

Мир, в котором существует персонаж, – аристократический мир – обозначается через имена собственные: *Eton, Yale*, ассоциирующиеся с престижными учебными заведениями, а также через слова *schizophrenia, depression*, называющие аристократические недуги, являющиеся следствием определенного образа жизни. Антропонимы, присутствующие в данном фрагменте, весьма традиционны для жанра светской хроники. Они представляют собой имена человека, охарактеризованного по его социальной (*lord, marquess*), имущественной (*bankrupt*), семейной (*son*) роли.

Антропонимы – неотъемлемый элемент еще одного «человеческого» жанра – жанра **тематической статьи** (*feature*). Иногда *feature* переводится на русский язык как «проблемная статья»; тот или другой варианты условны, т.к. в русском языке нет отдельного слова для статьи данного типа. В центре тематической статьи разнообразные проблемные ситуации, возникающие в сфере частной жизни человека и отражающие определенные тенденции в современном обществе. В следующем фрагменте из тематической статьи речь идет о молодых людях, которым перевалило за тридцать, рядом с которыми иногда бывают подруги и которые утверждают, что счастливы тем, что ни с кем не связаны семейными узами. Автор анализирует сложившуюся ситуацию и размышляет о роли семьи как социальном институте.

*Taking on a **family**, and looking after a woman and **babies**, used to be a **rite of passage** for a **man**. It was a sign that he was a proper, grown-up **bloke**. Getting married would give him a point to his life - it would mean he'd become a **provider**, taking care of the **women** and **children**. But now, with far more **women** working and earning enough to support themselves, the **women** and **children** can take care of themselves. There's no cachet in talking on a **wife**, And very little point in getting married of all, in fact.*

The Independent, 2001, Jan. 23, p. 7

Данная диктема содержит в себе целый ряд антропонимов, однако, в отличие от портретного очерка и светской хроники, где они имеют идентифицирующую референцию, в тематической статье эта разновидность номинатов обладает другими типами отнесенности: либо отнесенностью к любому представителю класса: *a man, a woman*, либо к целому классу: *women, children*. Разные предметные ситуации, лежащие в основе названных жанров (глубинной структуре жанров) неминуемо ведут к разным типам отнесенности антропонимов (в поверхностной структуре). Тип референции «любой», «всякий» сохраняется в антропонимах *bloke, provider*, которые, соотносясь с антропонимом *man*, именуя некоторые специфические для данной проблемной ситуации признаки, характеристики; антропоним *provider* именуя лицо с точки зрения выполнения им определенной роли в семье, антропоним *bloke* – менее строгое, более непринужденное именование лица, допустимое и уместное словоупотребление в данном жанре.

Номинативное пространство тематической статьи формируется еще одной группой имен. В анализируемой диктеме к ней относятся следующие слова: *family, life, rite of passage*. Это отвлеченные однословные и несколько-словные номинации, связанные с миром человека, называющие признаки, состояния, отношения, ситуации, события, свойственные различным сферам проявления деятельности человека. Именно отвлеченный характер этих имен и их связь с миром человека объясняют и делают их присутствие в тематической статье естественными и необходимыми.

Итак, сопоставление прототипических диктем различных жанров позволяет сделать следующий вывод: жанровое измерение текста является результатом взаимодействия многих факторов, один из которых номинативный. Из анализа следует, что существует прямая связь между выбором предметных имен и жанровым вектором текста.

Так, роль *антропонимов* меняется от жанра к жанру. Представление конкретного индивида как личности в **портретном очерке** требует использование практически всех имеющихся в языке антропонимических ресурсов, в то время как в **светской хронике**, где конкретный индивид характеризуется лишь с точки зрения его социально-статусной принадлежности, используется ограниченный круг антропонимов, тех, которые обозначают лицо как носителя какого-либо социального статуса. Выбор антропонимов в **тематической статье** подчинен обсуждаемой в ней проблеме: антропонимы характеризуют не конкретного индивида, а группу людей с точки зрения выполняемой или социальной роли.

В выборе *конкретных предметных имен* также наблюдаются различия. В **репортаже** представление единичного события требует использования конкретных имен в идентифицирующей референции, в **комментарии**

встраивание единичного события в цепь других событий приводит к тому, что конкретные имена соотносятся не с отдельными представителями класса, а со всем классом объектов (генерализирующая функция).

Отвлеченные предметные имена также демонстрируют свою специфику как в количественном, так в качественном отношении. Из наиболее «рассудочных» жанров – комментария, тематической статьи – удельный вес отвлеченных имен выше в первом, в последнем рассуждения дополняются яркими описательно-повествовательными элементами. Общие, так называемые десемантизированные имена типа *fact, point, thing* и имена, обозначающие мыслительные, вербальные логические категории, пересекаются во всех названных выше жанрах, хотя распределяются неравномерно: чаще в **комментарии**, реже в **тематической статье**. Другие отвлеченные имена не пересекаются и встречаются преимущественно в том или ином жанре. Отвлеченные имена в **комментарии** связаны с обозначением политических и экономических реалий и понятий, затрагивающих экономическую и политическую сферу бытия социума. Отвлеченные имена в **тематической статье** представляют собой опредмечивание действий, процессов, состояний, свойственных человеку, т.е. отглагольные существительные, посредством которых достигается необходимая степень обобщенности при обсуждении проблем, затрагивающих сферу бытия собственно человека.

Список литературы

1. **Бахтин, М. М.** Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 257 с.
2. **Седов, К. Ф.** О жанровой природе дискурсивного мышления языковой личности / К. Ф. Седов // Жанры речи : сборник научных статей. – Саратов : Колледж, 1999. – С. 13–26.
3. **Кубрякова, Е. С.** Роль словообразования в языковой картине мира / Е. С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постолова. – М. : Наука, 1988. – С. 141–172.
4. **Блох, М. Я.** Теоретические основы грамматики / М. Я. Блох. – М. : Высшая школа, 2002. – 160 с.
5. **Блох, М. Я.** Диктема в уровневой системе языка / М. Я. Блох // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4. – С. 56–67.
6. **Кубрякова, Е. С.** Части речи в ономаσιологическом освещении / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1978. – 114 с.
7. **Гак, В. Г.** Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. – М. : Добросвет, 2000. – 832 с.
8. **Мелихова, Н. В.** Семантико-синтаксический аспект текста / Н. В. Мелихова // Грамматика и смысловые категории текста. – М., 1982. – С. 67–86.
9. **Гак, В. Г.** О семантической организации текста / В. Г. Гак // Лингвистика текста : материалы научной конференции. – М., 1974. – Ч. I. – С. 61–66.
10. **Уфимцева, А. А.** Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 240 с.

ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

Излагаются результаты экспериментально-фонетического исследования фоностилистических особенностей сегментации немецкой речи на основе ее региональных вариантов в Германии, Австрии и Швейцарии. Особое внимание направлено на описание функционирования супraseгментного уровня с учетом синтагматических, позиционных и фоностилистических факторов. Приводятся результаты анализа модификаций супraseгментных признаков для реализации фонетического членения в немецких текстах. Обосновывается значимость результатов проведенного исследования для развития одного из ведущих направлений современного языкознания – коммуникативного подхода к исследованию языковых явлений, а также для развития теории типологии, вариантологии и сегментологии не только в рамках германистики, но и для теоретической и прикладной лингвистики в целом.

Фоностиликтика является достаточно новой областью лингвистики, хотя упоминания о роли фонетических средств в стилистическом оформлении высказывания встречаются во многих работах по стилистике.

Традиционно фоностиликтика разграничивается на два больших самостоятельных раздела: сегментную и супraseгментную в зависимости от того аспекта звучащей речи, который является объектом ее исследования, т.е. звуки языка или просодия.

Фонетические исследования на материале сегментного ряда являются более многочисленными, и данный раздел языкознания наиболее разработан. Так, например, изучение звукового символизма начинается с Платона и Аристотеля [7, 8]. Что же касается супraseгментного аспекта, то его исследования начались, по сути, с развитием лингвистики текста, т.е. с интереса исследователей к объекту большему, чем фраза [3, 9–14].

В настоящей статье излагаются результаты одного из аспектов комплексного экспериментально-фонетического исследования специфики функционирования фонетической системы современного немецкого языка в его региональных вариантах на супraseгментном уровне с учетом синтагматических, позиционных и фоностилистических факторов.

На современном этапе развития языкознания наблюдается возросший интерес к проблеме изучения различных аспектов звучащей речи, в том числе к исследованию внутренней структуры и динамики речевых явлений. Речевая динамика, в свою очередь, предопределяет возникновение проблемы разграничения, а следовательно, и проблемы пограничных сигналов в языке.

Основополагающим в этой области является учение Н. С. Трубецкого о разграничительной, или делимитативной, функции звуковой материи языка [9]. Автор впервые ставит вопрос о пограничных сигналах, т.е. о фонологических и фонетических средствах разграничения значимых единиц в потоке речи, предпринимает попытку их классификации, определяет роль, место и способы их реализации в различных языках. Теория пограничных сигналов Н. С. Трубецкого и в наше время не потеряла своей актуальности и продолжает служить плодотворной основой для многочисленных изысканий в науке о языке.

Настоящее экспериментально-фонетическое исследование является первым в области выявления, описания и систематизации пограничных сигналов на супraseгментном уровне в различных региональных вариантах немецкого литературного языка применительно к границам между различными лингвистическими единицами (фоноабзацами, фразами, синтагмами и фонетическими словами) с учетом фоностилистического фактора.

Проблема вариативности фонетических единиц в потоке речи всегда находилась в центре внимания современной лингвистики [2, 15–22]. В современных условиях развития перспективных информационных технологий по-новому ставится проблема сегментации и смыслового распознавания звучащей речи в зависимости от условий коммуникации и с учетом различных факторов, в том числе и региональных. Данное положение приобретает особую значимость в отношении немецкого литературного языка, т.к. немецкий язык функционирует на территории ряда регионов, выступая в качестве государственного языка в таких странах, как ФРГ, Швейцария и Австрия, и обладает определенной вариативной произносительной спецификой.

Следует отметить, что небезынтересным, с нашей точки зрения, представляется также выявление возможных произносительных различий немецкого литературного языка применительно к речевым сегментам на материале бывшей ГДР и бывшей ФРГ. О наличии произносительных различий между восточно-германским и западно-германским региональными вариантами указывалось ранее в немецких произносительных словарях [23–25].

В наших ранних исследованиях подтвердилось положение о наличии произносительных различий в различных региональных вариантах современного немецкого литературного языка [19, 20, 26, 27]. Были выявлены общие и специфические признаки функционирования фонетической системы немецкого литературного языка применительно к различным региональным вариантам на уровне слухового восприятия и акустических коррелятов с учетом синтагматических и позиционных факторов.

Выявление и описание фоностилистических особенностей сегментации немецкой речи на основе ее региональных вариантов не было еще предметом специального исследования в современном языкознании. Фоностилистический фактор является составной частью коммуникативной деятельности человека. Поэтому очень важно при исследовании речевых явлений уделять особое внимание этому фактору. Функциональную значимость языка нельзя игнорировать [13, 28–32].

Теоретической предпосылкой настоящего исследования является положение о том, что речевое высказывание прежде всего обусловлено функционально. По мнению Э. Г. Ризель, в зависимости от различных факторов «изменяется фонетическое оформление высказывания» [3]. Поэтому было решено провести экспериментально-фонетическое исследование фоностилистических особенностей сегментации немецкой речи на материале ее региональных вариантов в Германии, Австрии и Швейцарии.

Методика такого исследования была предложена Р. К. Потаповой [18, 33] и применена при ее согласии и непосредственном участии для изучения региональной специфики сегментации немецкой речи на территории Германии, Австрии и Швейцарии в теоретико-лингвистическом, фонологическом (фонотактическом), аудитивном, акустическом и синтагматическом аспектах [34]. Представляется целесообразным использовать данную методику также и

при изучении фоностилистических особенностей региональных вариантов современного немецкого языка.

В качестве материала исследования были отобраны тексты двух жанров – новостей и публицистики – в прочтении дикторов радио и телевидения – носителей региональных вариантов современного немецкого языка. Все экспериментальные тексты общим количеством 80 (по 10 аутентичных текстов каждого анализируемого жанра в прочтении носителей четырех региональных вариантов немецкого языка – западно-германского, восточно-германского, австрийского и швейцарского) были прослушаны опытными аудиторами. Данный этап прослушивания показал, что тексты звучат в нормальном темпе, без какой-либо диалектальной окраски и являются репрезентантами литературного стандарта немецкого языка в четырех вышеуказанных регионах.

Далее проводился фонотактический анализ на материале письменных коррелятов экспериментальных текстов с целью выявления системы фонологических пограничных сигналов, маркирующих границы лингвистических единиц и выступивших в качестве исходного пункта для проведения собственно экспериментально-фонетического исследования. Представилось целесообразным проследить взаимосвязь данных в отношении частотного распределения фонем на стыках в текстах различных региональных вариантов немецкого языка и результатов слухового восприятия этих стыковых участков как на сегментном, так и на супraseгментном уровнях с последующей корреляцией полученных данных с результатами акустического вида анализа.

В качестве границ лингвистических единиц, подлежащих рассмотрению, были выбраны границы синтагм и фраз. Данный выбор объясняется тем обстоятельством, что на современном этапе развития фонетических исследований принципы микросегментации, т.е. сегментации на субзвуковые, звуковые и слоговые единицы в отношении ряда языков уже достаточно хорошо разработаны и описаны [15, 17, 27, 35]. Этого нельзя сказать в отношении изучения принципов макросегментации слитной речи, т.е. членения речевого потока на коммуникативно-значимые фрагменты, такие как синтагмы и фразы. На необходимость подобного рода исследований указывает ряд работ [36–38]. Изучение данного вопроса требует, таким образом, специального исследования, основанного на обширном материале и надежной статистике. Поэтому представляется интересным начать изучение фоностилистических особенностей сегментации немецкой речи в ее региональных вариантах на материале границ между синтагмами и фразами.

Слуховой анализ сегментных и супraseгментных признаков фонетического членения немецких текстов осуществлялся по специально разработанной программе, которая включала несколько этапов:

1. Фонетическое членение экспериментальных текстов:

а) членение звучащего текста перцепиентами, предусматривающее распознавание фонетических единиц (фоноабзацев, фраз, синтагм, фонетических слов) без опоры на пунктуацию;

б) фиксацию ударения в выделенных на предыдущем этапе единицах и определение типа ударения (словесного, синтагматического, фразового).

2. Описание фонетических признаков супraseгментных средств членения текста.

3. Описание фонетических признаков сегментных средств членения текста с учетом вокализма и консонантизма.

Слуховой анализ текстов носителями языка проводился в Боннском университете, где были представлены тексты двух жанровых принадлежностей в трех региональных вариантах немецкого литературного языка. В качестве информантов выступили преподаватели и студенты университета – носители соответствующего регионального варианта немецкого языка. Перцептивный анализ восточно-германской реализации немецкого литературного языка осуществлялся на территории бывшей ГДР в г. Кенигс Вустерхаузен. Общее количество информантов составило 20 человек.

С целью выявления возможных различий при слуховой интерпретации анализируемых стимулов была привлечена вторая группа испытуемых, не являющихся носителями немецкого языка. В эту группу вошли лингвисты – опытные преподаватели фонетики немецкого языка.

Результаты анализа экспериментальных текстов аудиторами – носителями немецкого языка и аудиторами – носителями русского языка позволили сделать вывод о том, что слуховая оценка сегментации той и другой групп информантов имеет свою специфику и опирается на фонологическую и артикуляционно-перцептивную базу испытуемых. Установлено, что сегментация речевого сообщения носителями региональных вариантов немецкого языка осуществляется, начиная преимущественно с главновыделенного в смысловом отношении слова, что подтверждает результаты, полученные ранее Р. К. Потаповой [18]. Выделение ударений других разновидностей в составе звучащего текста имеет тенденцию к убыванию.

Далее приводятся результаты анализа модификаций супraseгментных признаков для реализации фонетического членения в немецких текстах. Данный анализ осуществлялся дифференцированно применительно к границам фраз и синтагм на материале текстов двух жанров – новостей и публицистики – в отношении четырех немецкоговорящих регионов: западно-германского, восточно-германского, австрийского и швейцарского.

Каждый из просодических признаков (мелодический, темпоральный, динамический, акцентный и паузальный) оценивался по соответствующей программе. Так, *мелодический* признак включал только три основные конфигурации: падение тона, повышение тона, ровный тон. *Темпоральный* признак имел следующие основные градации: медленный, средний, быстрый. В пределах каждого типа *динамического* изменения рассматривались такие его степени, как тихий, средний и громкий. Признак *ударения* включал три ступени: минимально акцентированную, среднюю и максимально акцентированную. *Паузы*, выявляемые на стыках анализируемых единиц, классифицировались как долгие, средние и минимальные, а также невоспринимаемые.

Попарное сравнение данных применительно к принадлежности к региональным вариантам немецкого языка и в зависимости от анализируемого жанра, а также использование модифицированного *t*-критерия дали возможность не только выявить систему пограничных сигналов, но и определить степень их экспликации в каждом из сравниваемых вариантов с учетом стилистического фактора. Характер слуховой идентификации признаков предопределил дифференцированный подход к классификации самих пограничных сигналов в качестве положительных и отрицательных в зависимости от каж-

дого конкретного признака и позиции, которую занимает на стыке анализируемый сегмент (в частности, слог).

Так, применительно к мелодическому признаку для конечной позиции фраз в качестве положительного пограничного сигнала было выделено падение частоты основного тона (ЧОТ). Ровный тон и подъем ЧОТ выступили в качестве отрицательных пограничных сигналов.

Падение ЧОТ в конечной позиции фраз в качестве положительного пограничного сигнала присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов, однако степень выраженности этого признака различна в зависимости от принадлежности к тем или иным вариантам¹, а также от жанра анализируемого текста. Так, например, при сравнении ЗВ и ВВ, ЗВ и ШВ, ЗВ и АВ большую степень выраженности в качестве пограничного сигнала признак ЧОТ имеет в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ. Если проследить характер модификаций данного признака в данной конкретной позиции в текстах различной жанровой принадлежности, то можно увидеть наибольшую выраженность данного признака в текстах публицистики.

Ровный тон в качестве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой позиции в равной степени представлен в ЗВ–АВ и ШВ–АВ и более выражен на слуховом уровне в текстах публицистики. Подъем ЧОТ в качестве пограничного сигнала для конечной позиции фраз зафиксирован в ЗВ и АВ с одинаковой степенью выраженности в обоих вариантах и только в текстах новостей. Однако эти признаки нерегулярны, что объясняется, возможно, индивидуальными особенностями произношения дикторов и(или) коммуникативной установкой анализируемых жанров. Тексты новостей и публицистики выступают в форме подготовленного чтения и соответствуют нормам стандартного произношения. Однако они различаются по своим коммуникативным задачам. Целью прочтения новостей является краткое, компактное изложение актуальной информации. Задача прочтенных публицистических текстов – это более подробное, спокойное изложение событий. На наш взгляд, исходная коммуникативная установка вполне может оказывать определенное влияние на слуховую реализацию признаков фонетического членения текстов различной жанровой принадлежности [38]. Отсюда наличие более ровного тона в конечной позиции фраз в публицистических текстах, большая выраженность признака падения ЧОТ в этих же текстах и тенденция к выравниванию ЧОТ и даже к ее подъему в текстах новостей.

Применительно к *конечной позиции синтагм* признак подъема ЧОТ рассматривался как положительный пограничный сигнал. Падение ЧОТ и ровный тон были выделены в качестве отрицательных пограничных сигналов, причем с одинаковой степенью выраженности во всех сравниваемых вариантах, за исключением ЗВ и ШВ, где падение ЧОТ более регулярно представлено в ЗВ. При сравнении текстов двух анализируемых жанров установлено также, что признак подъема ЧОТ в данной позиции более представлен в текстах новостей, а падение ЧОТ и ровный тон – в текстах публицистики.

В отношении *начальной позиции фраз* в качестве положительного сигнала рассматривается подъем ЧОТ. Признак ровного тона выступал как от-

¹ В дальнейшем изложении материала исследования вводятся следующие сокращения названий региональных вариантов немецкого литературного языка: ЗВ – западно-германский; ВВ – восточно-германский; ШВ – швейцарский и АВ – австрийский.

рицательный пограничный сигнал. Падения ЧОТ в данной позиции не наблюдалось. Подъем ЧОТ имеет одинаковую степень выраженности при сравнении ЗВ и ВВ. В отношении остальных сравниваемых вариантов данный показатель наиболее характерен для ШВ по сравнению с АВ и для ЗВ по сравнению с АВ. Стилистическая принадлежность текстов в данном случае практически не влияет на анализируемый показатель.

Применительно к *начальной позиции синтагм* в качестве положительных пограничных сигналов рассматривались возрастающий и ровный тоны. Признак падения ЧОТ выступил в качестве отрицательного пограничного сигнала. Ровный тон имеет одинаковую ступень выраженности на слуховом уровне в текстах новостей в таких парах сравниваемых вариантов, как ЗВ–ВВ и ШВ–АВ, а в текстах публицистики – в ЗВ–ШВ, ВВ–АВ, ЗВ–АВ и ШВ–АВ. Признак подъема ЧОТ в качестве положительного пограничного сигнала присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов с тенденцией к наибольшему выделению в текстах новостей.

Падение ЧОТ в качестве отрицательного пограничного сигнала на указанных участках идентифицируется на слуховом уровне во всех парах, но с различной степенью выраженности в зависимости от сравниваемых вариантов и жанровой принадлежности текстов.

Что касается темпорального признака сегментации, то здесь также зафиксированы определенные разновидности положительных и отрицательных пограничных сигналов. В *конечной позиции фраз* в качестве положительных пограничных сигналов рассматривались признаки медленного и среднего темпа. Быстрый темп является для данной позиции отрицательным пограничным сигналом. Признак медленного темпа представлен во всех сравниваемых парах в текстах обоих жанров. Однако в текстах новостей в парах ВВ–АВ и ШВ–АВ данный признак выступает в качестве отрицательного сигнала. В текстах публицистики значения более равномерны.

Признак быстрого темпа в качестве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой позиции присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов и примерно одинаково маркирован перцептивно в текстах обоих жанров. В отношении конечной позиции синтагм темпоральный признак в качестве пограничного сигнала выглядит следующим образом: быстрый и средний темп – положительные пограничные сигналы, медленный темп – отрицательный пограничный сигнал.

В *начальной позиции фраз, а также синтагм* в качестве положительных пограничных сигналов выступили такие признаки, как быстрый и средний темп. Признак медленного темпа рассматривался как отрицательный пограничный сигнал для обеих позиций, причем в позиции начала фраз он представлен только в ШВ и АВ с равной степенью выраженности. В остальных парах сравниваемых региональных вариантов в текстах новостей данный показатель отсутствует. В текстах публицистики, напротив, признак быстрого темпа в качестве отрицательного пограничного сигнала достаточно хорошо выражен на слуховом уровне во всех сравниваемых вариантах.

Применительно к динамическому признаку также выявлено наличие определенных положительных и отрицательных сигналов. В *конечной позиции фраз* в качестве положительных пограничных сигналов выступили такие признаки, как минимальный и медиальный уровни громкости. Максималь-

ный уровень громкости отмечен как отрицательный пограничный сигнал. Данные результаты наиболее показательны для текстов публицистики. В отношении текстов новостей наблюдается следующая картина: для ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ признак минимального уровня громкости выступает в качестве отрицательного пограничного сигнала. А в публицистических текстах в ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ отсутствуют показатели среднего уровня громкости.

В конечной позиции синтагм в качестве положительного пограничного сигнала рассматривался признак медиального уровня громкости, а признаки максимального и минимального уровней громкости выступали как отрицательные пограничные сигналы. Признак медиального уровня громкости выражен без каких-либо заметных расхождений в зависимости от стилистической принадлежности текстов, но с некоторыми небольшими различиями при его перцептивной идентификации в сравниваемых парах региональных вариантов. Признак максимального уровня громкости оценивается аудиторами достаточно одинаково в парах ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ применительно к текстам новостей. В отношении текстов публицистики некоторые различия значений наблюдаются во всех парах сравниваемых региональных вариантов.

В начальной позиции фраз, а также синтагм в качестве положительного пограничного сигнала рассматривались признаки максимального и медиального уровней громкости. Признак минимального уровня громкости является отрицательным пограничным сигналом.

Применительно к признаку акцентной выделенности выявляется специфическая картина положительных и отрицательных пограничных сигналов. *В конечной позиции фраз* оказалось возможным сравнить только ЗВ–ШВ и ВВ–ШВ в текстах публицистики, т.к. языковой материал в текстах в искомым позициях не содержал достаточного количества слов с ударным слогом. В обеих парах наблюдается равная степень выраженности анализируемого признака. *В конечной позиции синтагм* значения признака акцентной выделенности более разнообразны и наиболее типичны применительно к текстам публицистики.

В начальной позиции фраз удалось сравнить также из-за отсутствия значений только ЗВ–ШВ (новости) и ЗВ–АВ (публицистика).

В начальной позиции синтагм тенденция к признаку максимальной выделенности в качестве отрицательного пограничного сигнала идентифицируется аудиторами в текстах обоих жанров. Признак медиальной выделенности рассматривался как положительный сигнал для данной позиции во всех анализируемых текстах. Данный признак присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов с различиями в значениях в зависимости от характера сравнения вариантов и жанровой принадлежности текстов.

Определенный интерес представляет признак паузации, который рассматривался в качестве положительного и отрицательного пограничных сигналов следующим образом. *Паузы между фразами* дифференцировались так, что максимальные и медиальные паузы выступали как положительные пограничные сигналы, а минимальные и невоспринимаемые паузы – как отрицательные. Данные виды пауз присутствуют во всех парах сравниваемых вариантов с модификациями в зависимости от типа сравнения и стилистической принадлежности текста. Минимальная пауза в качестве отрицательного погранич-

ного сигнала зафиксирована во всех парах применительно к публицистическим текстам, а в отношении новостей данный признак отсутствует в ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ. Невоспринимаемые паузы в данной позиции отсутствуют.

Паузы между синтагмами в качестве пограничных сигналов распределены следующим образом. Максимальные и медиальные паузы были отнесены к отрицательным пограничным сигналам на материале текстов новостей. В публицистических текстах в ряде случаев сравнения вариантов максимальные паузы были оценены как положительные пограничные сигналы. Максимальные и воспринимаемые паузы рассматривались как положительные пограничные сигналы. Для ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ (тексты новостей) и ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ (тексты публицистики) воспринимаемые паузы отсутствуют.

Результаты слухового анализа, проведенного группой аудиторов – носителей русского языка, также оценивались с помощью модифицированного *t*-критерия, после чего принималось решение о том, является ли данный конкретный признак достаточно надежным при дифференциации положительных или отрицательных пограничных сигналов. Данные этой группы информантов несколько отличаются от результатов, полученных для группы аудиторов – носителей региональных вариантов немецкого языка, что подтверждает положение об определяющей роли системы языка при просодической делимитации звучащего текста [17, 20, 38]. Однако наблюдаются общие тенденции в характере слуховой идентификации супрасегментных признаков в качестве положительных и отрицательных пограничных сигналов и их выраженности (большей или меньшей) на слуховом уровне на границах лингвистических единиц применительно к различным региональным вариантам немецкого языка и в зависимости от жанровой принадлежности анализируемых текстов, что может быть объяснено достаточно специфическим корпусом информантов, являющихся преподавателями фонетики немецкого языка, а следовательно, и имеющих соответствующие навыки в моделировании супрасегментных характеристик немецкой речи.

Таким образом, перцептивная идентификация супрасегментных признаков сегментации немецких звучащих текстов двух жанров – новостей и публицистики – позволила обнаружить следующее:

- 1) выявленные признаки достаточно регулярно соотносятся с двумя классами просодических сигналов: положительных и отрицательных;
- 2) классификация пограничных сигналов определяется позицией и типом стыка в рамках текста;
- 3) произносительные региональные варианты немецкого языка применительно к сферам восприятия просодических пограничных сигналов характеризуются наличием разнообразной комбинаторики признаков, лежащих в основе описания пограничных сигналов;
- 4) распределение пограничных сигналов и комбинаторики их признаков на границах лингвистических единиц находится под воздействием не только регионального, но также и фоностилистического фактора;
- 5) фоностилистическое маркирование границ значимых единиц в немецких текстах обнаруживается в данных двух групп информантов – носителей соответствующих региональных вариантов и русских испытуемых.

Результаты проведенного исследования вносят существенный вклад в развитие одного из ведущих направлений современного языкознания – ком-

муникативного подхода к исследованию языковых явлений, предусматривающего разработку теории языка как средства коммуникации. Они позволяют более полно описать фонологическо-фонетические особенности немецкого звукового строя в аспекте формально-смыслового членения текстов применительно к различным региональным вариантам современного немецкого языка и с учетом фоностилистического фактора. Полученные данные приложимы к исследованию текстов другой жанровой принадлежности и других языков, что является весьма перспективным для развития теории типологии, вариантологии и сегментологии не только в рамках германистики, но и для теоретической и прикладной лингвистики в целом.

Список литературы

1. **Bühler, K.** Sprachtheorie / K. Bühler. – Jena : Fischer, 1934.
2. **Реформатский, А. А.** К вопросу о фономорфологической делимитации слова / А. А. Реформатский // Морфологическая структура слова в языках различных типов. – М., 1963.
3. **Riesel, E.** Der Stil der deutschen Alltagsrede / E. Riesel. – Leipzig, 1970.
4. **Leon, P. R.** Essais de phonostylistique / P. R. Leon. – Montreal : Didier, 1971.
5. **Carton, F.** Introduction a la phonetique du francais / F. Carton. – Paris : Bordas, 1974.
6. **Fonagy, I.** La vive voix / I. Fonagy. – Paris : Payot, 1983.
7. **Платон.** Сочинения : в 3-х т. / Платон. – М. : Мысль, 1968. – Т. 1. – С. 597.
8. **Аристотель.** Сочинения : в 4-х т. / Аристотель. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 667.
9. **Трубецкой, Н. С.** Основы фонологии / Н. С. Трубецкой. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
10. **Бодуэн де Куртене, И. А.** Избранные труды по общему языкознанию / И. А. Бодуэн де Куртене. – М., 1963.
11. **Блохина, Л. П.** Просодические характеристики речи : методическое пособие / Л. П. Блохина, Р. К. Потапова. – М., 1970.
12. **Riesel, E.** Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schnendels. – Moskau, 1975.
13. **Karpow, K.** Phonostilistik der deutschen Sprache / K. Karpow, N. Miljukowa. – Moskau, 1982.
14. **Lüssy, H.** Umlautprobleme im Schweizerdeutschen. Untersuchungen an der Gedenwartssprache / H. Lüssy. – Frauenfeld : Huber, 1974. – 225 s.
15. **Зиндер, Л. Р.** Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М., 1979.
16. **Торсуев, Г. П.** Вопросы фонетической структуры слова / Г. П. Торсуев. – М. ; Л. : АН СССР, 1962.
17. **Потапова, Р. К.** Параметрическая микро- и макросигментация слитной речи / Р. К. Потапова // Проблемы фонетики и фонологии : материалы Всесоюзного совещания. – М., 1986.
18. **Потапова, Р. К.** Сегментно-структурная организация речи (экспериментально-фонетическое исследование) : дис. ... д-ра филол. наук / Р. К. Потапова. – Л., 1981.
19. **Потапова, Р. К.** Аллофоническое варьирование консонантизма / Р. К. Потапова, Т. А. Гордеева. – М., 1991.
20. **Гордеева, Т. А.** Система пограничных сигналов в литературном немецком языке ФРГ, Австрии, Швейцарии (экспериментально-фонетическое исследование) : дис. ... д-ра филол. наук / Т. А. Гордеева. – М., 1997.
21. **Гордеева, Т. А.** К вопросу создания фоностилистики региональных вариантов современного немецкого языка / Т. А. Гордеева. – М. : ИНИОН РАН, 1999.
22. **Ammon, U.** Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz: das Problem der nationalen Varietäten / U. Ammon. – Berlin ; New-York, 1995.

23. Duden. Aussprachewörterbuch. – Mannheim, 1990.
24. Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. – Leipzig, 1982.
25. **Potapowa, R.** Das Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache / R. Potapowa. – M., 1994.
26. **Gordejewa, T.** Segmentale Besonderheiten im gegenwärtigen Standarddeutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Ergebnisse einer experimentell-phonetischen Untersuchung) / T. Gordejewa // *Phonetica Francofortensia*. – 1999a. – 7.
27. **Gordejewa, T.** Suprasegmentale Spezifik des heutigen Standarddeutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Ergebnisse einer experimentell-phonetischen Untersuchung) / T. Gordejewa // *Phonetica Francofortensia*. – 1999b. – № 7.
28. **Zinkin, N.** Über die Wahrnehmung der gesprochenen Sprache / N. Zinkin, L. Blochina, R. Potapowa // *Linguistics : Moulton*, 1975.
29. **Портнова, Н. И.** Социально-стилистическая вариативность звуковых единиц современного французского языка в процессе вербальной коммуникации (экспериментально-фонетическое исследование) : дис. ... д-ра филол. наук / Н. И. Портнова. – М., 1991.
30. **Sanders, W.** Linguistische Stiltheorie. Probleme, Prinzipien und moderne Perspektiven des Sprachstils / W. Sanders. – Göttingen, 1973.
31. **Roye, H.** Segmentierung und Hervorhebung in gesprochener deutscher Standardsprache: Analyse eines Polylogs / H. Roye. – Tübingen, 1983.
32. **O'Shaughnessy, D.** Speech Communications: Human and Machine / D. O'Shaughnessy. – Addison-Wesley Publishing Company, 1987.
33. **Потапова, Р. К.** Различные типы слогового стыка (экспериментальное исследование некоторых видов пограничных сигналов на материале немецкого языка) : дис. ... канд. филол. наук / Р. К. Потапова. – М., 1963.
34. **Потапова, Р. К.** К вопросу о пограничных сигналах в современном немецком языке (применительно к региональным вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии) / Р. К. Потапова, Т. А. Гордеева // *Вопросы языкознания*. – 1998. – № 2.
35. **Essen, O. V.** Allgemeine und angewandte Phonetik / O. V. Essen. – Berlin, 1972.
36. **Ермолов, И. А.** Фонетические средства автоматического распознавания немецкой слитной речи (опыт макросегментации на уровне синтагм и фраз) : дис. ... канд. филол. наук / И. А. Ермолов. – М., 1997.
37. **Нурахметов, Е.** Проблемы супrasegmentной фоностилистики (на материале французского языка) : дис. ... д-ра филол. наук / Е. Нурахметов. – М., 1997.
38. **Родионова, О. С.** Система языка – определяющий фактор просодической делимитации звучащего текста (экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкого языка) : дис. ... д-ра филол. наук / О. С. Родионова. – М., 2001.

РЕЦЕНЗИИ

Медушевский, А. Н. Проекты аграрных реформ в России. XVIII – начало XXI века / А. Н. Медушевский ; Ин-т рос. истории. – М. : Наука, 2005. – 639 с.

В монографии Андрея Николаевича Медушевского исследована эволюция аграрного вопроса в России с позиции легитимности земельной собственности со второй половины XVIII в. до конца XX в. Автор поставил своей задачей реконструкцию проектов аграрных преобразований по следующим параметрам: проблема земельной собственности, регулирование государством поземельных отношений, статус административных институтов и сословий.

Обращение к изучению российских аграрных проектов всего периода нового и новейшего времени через призму исследования институтов крестьянской общины, земства, судов позволило автору выйти на уровень широких обобщений не только самих моделей аграрных преобразований, но и их возможных социальных последствий. Автор пришел к выводу, что переосмысление российского опыта аграрных отношений и реформ необходимо для того, чтобы отделить его от сложившихся идеологических стереотипов и штампов, зачастую встречающихся в историографии.

Перспективен, на наш взгляд, историко-правовой подход автора при анализе правового дуализма в плане соединения в аграрной сфере действия норм гражданского права и обычного крестьянского права. В этом контексте проанализированы две основные стратегии периода русских революций начала XX в.: реформационная – перераспределение земельных ресурсов с гарантией имущественных прав землевладельцев (проекты конституционно-демократической партии) и революционная – уравнительное распределение государственного земельного фонда в соответствии с единым трудовым законодательством постреволюционного периода) (с. 615).

Автором рассмотрены направления регулирования традиционных поземельных отношений. Реконструкция содержания этих норм проведена путем тщательного исследования феномена права собственности в русской правовой литературе, начиная с Судебников и Уложений XVI–XVII вв. и заканчивая постсоветскими законодательными актами. Особое внимание обращено на анализ регламентации общинного права и роль сельской общины. В этой связи интерес представляет выявление таких своеобразных с правовой точки зрения конструкций, как «семейное право», «подворное право».

В аспекте преодоления разрыва между позитивным и обычным правом центральное место исследователь отводит проблеме соотношения закона и обычая, особенно в плане наследования земли крестьянами. В российском законодательстве община именовалась обычной формой владения и, следовательно, вне обычного права вообще не могла быть допустима. Особый статус крестьянских земель привел к тому, что в некоторых проектах особое «крестьянское право» выделялось в рамках гражданского права в целом с вычлениением таких институтов, как кондоминиум, сервитуты, эмпфитевзис.

Для осмысления стратегии правового регулирования автор выделяет проблему роли государства и государственного регулирования в аграрной сфере. Проведенное исследование позволило А. Н. Медушевскому констатировать наличие в России исторически сложившегося фактического слияния собственности и власти. На наш взгляд, новизна данной работы состоит именно в изучении трех основных подходов к аграрной реформе:

1) в рамках существующей правовой системы с сохранением прав собственности на землю;

2) революционного изменения аграрного строя, связанного с социализацией земли, т.е. передачей ее в собственность всего общества с целью уравнительного разделения для пользования крестьян в соответствии с трудовой нормой;

3) национализация земли.

Представляет интерес исследование А. Н. Медушевским таких проблем, как легитимность традиционных форм землевладения в новое и новейшее время в России, динамика реформ в традиционном обществе, типология моделей реформирования аграрных отношений по формам собственности на землю, теория переходных форм землепользования в аграрных проектах, аграрная реформа в условиях правовой нестабильности, технологии аграрных реформ в обществах переходного типа.

Принципиально важным, на наш взгляд, является выделение А. Н. Медушевским следующей триады: автор проекта, его цели, адресат – институциональная структура – процедура рассмотрения. По сути, это готовая матрица для комплексного анализа реформ в условиях российской действительности. В ее состав следует включить такие составляющие, как авторство, в том числе коллективное (кто, как и каким образом разрабатывал проект, к кому был направлен создаваемый документ, цели автора, его представления о способах разрешения проблемы и вероятной аргументации); институты, например Редакционные комиссии, Юридическое совещание, Главный Земельный комитет, Наркомзем, Министерство экономического развития. При оценке институтов автор предлагает учитывать их место в политической системе, социальный и профессиональный состав. При исследовании процедуры А. Н. Медушевский выделяет ее закрытый характер, неопределенность правовых норм, большое значение административных инструкций и разъяснений по реализации правовых норм.

Автор приходит к выводу, что история аграрных проектов в дореволюционной России отражает реальные изменения процедур (от закрытых к более открытым), авторства (от индивидуальных проектов к коллективным) и адресата (от особы монарха и его ближайшего окружения к широкой общественности).

Впервые в историографии проведено широкое, комплексное исследование технологии аграрных реформ с учетом особенностей российской действительности. Автор делит реформы на успешные и неуспешные, исходя из степени поддержки их государственной властью, в условиях правовой нестабильности. Законодательное регулирование землепользования осуществлялось в конфликтной форме из-за опасения спекулятивной скупки земель в случае легализации их коммерческого оборота. Исследователь ставит своей задачей выяснение соотношения правовой нормы и реальности в российской экономике на трех уровнях экономического регулирования: макроэкономиче-

ского (становление института частной собственности, ее легитимация в разных отраслях экономики и правовых гарантий ее сохранения), микроэкономического (совокупность социальных, правовых, политических факторов, оказывающих непосредственное влияние на принятие таких решений на локальном уровне) и специального (формирование самих механизмов правового регулирования и их изменение на уровне институтов и процедур).

А. Н. Медушевский на основе широкого обобщения всего опыта аграрного реформаторства в России приходит к выводу, что в основе неудач при реализации проектов лежит исторически сложившееся фактическое слияние собственности и власти.

Критическое переосмысление опыта законодательного регулирования аграрных отношений в России в рациональных категориях частного и публичного права позволит переосмыслить ошибки прошлого в чрезвычайно сложном деле российского реформаторства.

Н. Г. Карнишина

АННОТАЦИИ

История

УДК 930

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ ПРОТИВ «ТУПОГО РАЗГУЛА КАБАКА». *Леонтьева Т. Г.* – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 3–10.

Борьба с пьянством – актуальная для России проблема. Во второй половине XIX в. в ее решении активно участвовали православные священники. В статье рассмотрена деятельность таких священников, как Н. Лебедев, Д. Казанцев, Н. Поклонский и др., освещен вопрос организации обществ трезвости, издания тематических журналов «Вестник трезвости», «К свету».

УДК 947

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАМОК В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ЗЕМСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ НА МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО РЕГИОНОВ. *Низамова М. С.* – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 11–16.

Данная статья посвящена исследованию земского самоуправления Поволжского и Уральского регионов как одной из наиболее полно реализованных форм самоуправления местного населения. Географические рамки исследования ограничены губерниями Поволжского и Уральского регионов, которые являются интересными объектами для историко-политологического исследования. На протяжении всех лет существования земствами двух очень важных для России регионов накоплен богатейший опыт социально-политической деятельности, имеющий непреходящее значение.

УДК 947.083.53

«РУССКИЙ БУНТ» НАЧАЛА XX ВЕКА КАК РИТУАЛ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИСТИФИКАЦИЯ? *Сухова О. А.* – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 17–25.

На примере массовых социальных выступлений начала XX в. автор рассматривает проблему дефиниции бунта как ритуала крестьянской повседневности. Решение данного вопроса осуществляется в русле междисциплинарного синтеза категорий истории и социальной психологии. В этом контексте массовая социальная агрессия представлена как последовательная реализация определенных поведенче-

ских стереотипов, являвшихся закономерным отражением содержания социальных представлений.

УДК 94(470.341)+329(19)

«БОЕВАЯ РАДУГА НОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

(АНАРХО-МИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ПРОВИНЦИИ). Сапон В. П. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 26–32.

Статья посвящена краткой истории существования нижегородской группы анархо-мистиков (1925–1930). Эта организация как часть довольно разветвленной подпольной сети, созданной при деятельном участии выдающегося русского анархиста масона А. А. Карелина и его ближайших сподвижников, с одной стороны, представляла собой довольно беспомощную оппозицию формирующемуся авторитарному режиму, а с другой – попытку по-своему преодолеть традиции политического анархизма, прошедшего через глубокий исторический кризис в послеоктябрьские годы. Статья основана на материалах из фонда ВЧК-ОГПУ-КГБ, недавно переданных в Центральный архив Нижегородской области (сведения по делу 21446 по обвинению В. Бера вводится в научный оборот впервые).

УДК 947.034.1

БОМБЕЖКИ г. ГОРЬКОГО И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Сомов В. А. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 33–39.

Статья представляет собой локальное исследование, опыт историко-психологической реконструкции массового сознания и влияния на его динамику такого чрезвычайного фактора, как бомбежки в годы Великой Отечественной войны. На основе изучения источников личного происхождения предпринята попытка проанализировать формы и направленность психических реакций гражданского населения, их зависимость от различных обстоятельств, переход от чрезвычайных, шоковых форм к повседневным, обыденным.

Ф и л о с о ф и я

УДК 100.7

XXI ВЕК: ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. Стерледев Р. К. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 40–45.

В статье анализируется конфликт в гносеологии XX в. между естествознанием и эзотеризмом. В качестве объяснительного средства вводится понятие фундаментальной гносеологической установки и рассматриваются различные ее варианты, а также методологические следствия, вытекающие из данного теоретического построения.

УДК 008.001.14

**ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.** *Розенберг Н. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 46–51.

Статья посвящена рассмотрению феноменологии как методологической основы изучения различных аспектов повседневности. Автором анализируется понятие «жизненный мир» как одно из основных понятий феноменологии Гуссерля. Гуссерль развил идею «жизненного мира», мира нашей обычной повседневной деятельности и здравого смысла. В то же время непризнаваемая реальность жизненного мира является основой и матрицей всякой научной деятельности. Феноменология как философское направление, возникнув в начале XX в., плодотворно развивалась и стала междисциплинарной гуманитарной методологией.

УДК 378

**СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ.** *Налетова И. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 52–64.

В статье с философско-культурологической точки зрения рассматриваются вопросы диалектики становления и развития европейского образовательного пространства и европейской культурной традиции, что позволяет рассматривать современные интеграционные процессы в европейском высшем образовании, интеграцию российской системы высшего образования в европейское образовательное пространство не только с социально-экономической и социально-политической сторон, но и с социокультурной.

УДК 316. 6. 001. 5

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ
СИСТЕМА-ПРОЦЕСС.** *Николаева Е. М.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 65–72.

В современном обществе вслед за изменением условий социализации и форм социального поведения личности должны изменяться и методы научного познания данного феномена. В статье представлены результаты исследования феномена социализации личности с позиций синергетической методологии, позволяющие представить социализацию как синергетическую систему-процесс, что дает возможность развития и расширения категориального аппарата философской теории социализации.

Ф и л о л о г и я

УДК 830

А. К. ТОЛСТОЙ КАК ПЕРЕВОДЧИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Г. ГЕЙНЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. *Жаткин Д. Н., Шешнева Т. Н.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 73–81.

В статье впервые осуществлен целостный анализ переводов произведений выдающегося немецкого поэта Генриха Гейне на русский язык, выполненных в 1850–1860-х гг. А. К. Толстым. Русский переводчик своеобразно трактует гейневскую поэзию, интерпретирует ее с учетом особенностей собственного мировосприятия, оценки процессов и явлений окружающей российской действительности.

УДК 803.0.853

ПОЛИЛОГ – ТРЕТЬЯ ФОРМА РЕЧИ? *Яковлева Э. Б.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 82–89.

Статья посвящена обоснованию лингвистического статуса полилога как третьей формы речи. На основе сопоставительного анализа монолога, диалога и полилога выявляются их сущностные характеристики, отмечаются общие и дифференциальные черты, и на этой основе определяются типологические характеристики полилога.

УДК 811.11-12

ЖАНРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБСТАНТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ.

Тырыгина В. А. – Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 90–97.

В настоящей статье рассматривается взаимодействие номинативного аспекта текста и его жанровой принадлежности. В ходе сопоставительного анализа диктемы пяти британских медиажанров – портретного очерка (profile), светской хроники (gossip), тематической статьи (feature), репортажа (reportage), комментария (commentary) – выявляется обусловленность выбора субстантивных номинаций жанровой категорией диктемы.

УДК 803.0.853

ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ

НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ. *Гордеева Т. А.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Гуманитарные науки, 2007, № 1, с. 98–107.

Излагаются результаты экспериментально-фонетического исследования фоностилистических особенностей сегментации немецкой речи на основе ее региональных вариантов в Германии, Австрии и Швейцарии. Особое внимание направлено на опи-

сание функционирования супraseгментного уровня с учетом синтагматических, позиционных и фоностилистических факторов. Приводятся результаты анализа модификаций супraseгментных признаков для реализации фонетического членения в немецких текстах. Обосновывается значимость результатов проведенного исследования для развития одного из ведущих направлений современного языкознания – коммуникативного подхода к исследованию языковых явлений, а также для развития теории типологии, вариантологии и сегментологии не только в рамках германистики, но и для теоретической и прикладной лингвистики в целом.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гордеева Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой романо-германской филологии Пензенского государственного университета.

Жаткин Дмитрий Николаевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и иностранных языков Пензенской государственной технологической академии.

Карнишина Наталья Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Пензенского государственного университета.

Леонтьева Татьяна Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой отечественной истории Тверского государственного университета.

Налетова Ирина Владимировна – доктор философских наук, профессор кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.

Низамова Марина Сабировна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-политических дисциплин Набережночелнинского филиала Института экономики, управления и права (г. Казань).

Николаева Евгения Михайловна – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-политических дисциплин Набережночелнинского филиала Института экономики, управления и права (г. Казань).

Розенберг Наталья Владимировна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Пензенского государственного университета.

Сапон Владимир Петрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории политических партий и общественных движений Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Сомов Владимир Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры современной отечественной истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Стерледев Роман Константинович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Пермской государственной медицинской академии.

Сухова Ольга Александровна – кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник кафедры новейшей истории России и краеведения Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского.

Тырыгина Валентина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры грамматики английского языка Московского педагогического государственного университета.

Шешнева Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Кузнецкого института информационных и управленческих технологий (филиал ПГУ).

Яковлева Эмма Борисовна – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков естественно-научных специальностей Самарского государственного университета.

Уважаемые читатели!

Для гарантированного и своевременного получения журнала «**Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки**» рекомендуем вам оформить подписку.

Журнал выходит 4 раза в год по тематике:

- ***история***
- ***философия***
- ***филология***

Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп.

Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33; E-mail: VolgaVuz@mail.ru

Подписку на второе полугодие 2007 г. можно также оформить по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия высших учебных заведений». Подписной индекс – 36967.

ЗАЯВКА

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2007 г.

№ 1 – _____ шт., № 2 – _____ шт., № 3 – _____ шт., № 4 – _____ шт.

Наименование организации (полное) _____

ИНН _____ КПП _____

Почтовый индекс _____

Республика, край, область _____

Город (населенный пункт) _____

Улица _____ Дом _____

Корпус _____ Офис _____

ФИО ответственного _____

Должность _____

Тел. _____ Факс _____ E-mail _____

Руководитель предприятия _____

(подпись)

(ФИО)

Дата « ____ » _____ 2007 г.